

АНАТОЛИЙ РОГОВ



МОЙ ГЕНИЙ,  
МОЙ АНГЕЛ, МОЙ ДРУГ

РОМАН

1

Последним в роду богатых тульских помещиков Буниных был Афанасий Иванович — Белёвский городничий и предводитель уездного дворянства. Бунины исстари жили неподалёку от Белёва в большом имении Мишенское, владели другими поместьями в Тульской и Орловской губерниях, тысячами крепостных, имели дома в Белёве, Туле и Москве.

В екатерининские времена, когда Потёмкин покорял Крым, один из воевавших там друзей Бунина привёз в Мишенское двух пленных девочек-турчанок и подарил их хозяину. Одна из них — по имени Сальха — была очень красива. Их, конечно, крестили, Сальху нарекли Елизаветой, по отчеству Дементьевной, обучили русскому языку и грамоте. Елизавета оказалась умницей, трудолюбивой, необычайно деловитой, и уже в юности жена Бунина Мария Григорьевна доверила ей должность ключницы. С возрастом она всё больше хорошела, и уже не молодой к тому времени Афанасий Иванович со-

---

*РОГОВ Анатолий Петрович родился в 1928 году в Москве. Учился в Московской средней художественной школе и Тартуском художественном институте. Автор повестей и романов: "Алые кони", "Махонька", "Давняя пастораль", "Ванька Каин", "Доношение", "Соломония", книг, посвящённых русской культуре и русскому искусству: "Черная роза", "Народные мастера", "Лики России", "Мир русской души" и других. Автор художественных и документальных фильмов. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

блзнился, не устоял — согрешил со своей подневольной. Да не раз: Елизавета Дементьевна родила подряд двух девочек, умерших вскоре, а в тысяча семьсот восемьдесят третьем году разрешилась мальчиком, коего нарекли Василием, и, как было принято в ту пору среди бар, записали новорожденного за человеком, не имевшим к его рождению никакого отношения, но жившим в усадьбе Буниных в качестве приживала, бедным дворянином Андреем Григорьевичем Жуковским.

А за два года до того — в восемьдесят первом — в семействе Буниных стряслась страшная трагедия: их единственный девятнадцатилетний сын Иван из-за несчастной любви покончил с собой. Безумно его любившая мать Марья Григорьевна не могла с того момента видеть в своём доме никаких мальчиков и юношей, всех слуг и служек заменили девками и девочками.

И вдруг этот приплод. Буря разразилась такая, какой Афанасий Иванович не видывал за всю свою немалую жизнь. Ключница Елизавета была немедленно отставлена от должности, выгнана из дома и поселена с младенцем в отдалённой избёнке на самое скудное содержание. Невольный отец повинно молчал, боялся заступиться, характер у его жены был крутейший, властный, недаром он в глаза и за глаза называл её только барыней и всегда опасался — рыльце-то было в сильном пушку...

Но однажды он уехал, а Елизавета Дементьевна со спелёнутым Васенькой на руках пришла в покои барыни, положила его на пол у её ног, встала на колени и сказала:

— Простите, Христа ради, Марья Григорьевна! И меня, и его. Он-то не виноват ни в чём. Посмотрите, каков!

И развернула смугленького кареглазого улыбающегося младенца.

Глаза Марьи Григорьевны застлали слёзы, Васенька ей понравился, расстрогал — и она всё простила.

А вскоре и привязалась к маленькому Жуковскому, полюбила, как когда-то ненаглядного сына, и лелеяла и воспитывала его, как своего, став по существу ему второй матерью, не менее важной, чем настоящая. Да она и сама считала себя таковой. И сдружилась по-настоящему с Елизаветой Дементьевной, назначив её пожизненно своей домоправительницей.

В Мишенском все полюбили маленького красивого, ласкового, доброго и любознательного Васеньку.

Помимо погибшего сына, у Буниных были четыре взрослых дочери, две к тому времени уже замужние, и скончавшийся в тысяча семьсот девяносто первом году семидесяти семи лет от роду Афанасий Иванович все свои владения завещал им поровну, но перед самой смертью всё же сказал жене о сыне Васеньке и его матери:

— Барыня! Для этих несчастных я не сделал ничего, но поручаю их тебе и детям моим.

— Будь совершенно спокоен. С Лизаветой я никогда не расстанусь, а Васенька будет моим сыном.

И взяла из наследства каждой дочери по две с половиной тысячи рублей, то есть всего десять тысяч, и отдала их Елизавете Дементьевне, чтобы та хранила для Васеньки.

В раннем детстве гувернёр немец учил его дома немецкому и французскому языкам, а русский учитель — русской грамоте. Затем его увезли в Тулу, где жила одна из дочерей Буниных, его крёстная Варвара Афанасьевна Юшкова, и отдали учиться в частный пансион Роде, где он и жил. У очень любившей его сводной сестры и крёстной бывал только по воскресеньям. Затем его перевели в Главное народное училище Тулы, а в тысяча семьсот девяносто седьмом году Марья Григорьевна сама отвезла четырнадцатилетнего Жуковского в Москву и отдала в одно из двух самых престижных в то время учебных заведений — Московский Университетский благородный пансион. То есть пансион только для благородных, где Василий проучился четыре года и крепко сдружился с Александром Тургеневым, его старшим братом Андреем и Алексеем Мерзляковым, учившимися в университете, Дмитрием Дашковым, Дмитрием Блудовым, братьями Кайсаровыми, отставным конногвардейцем Александром Воейковым — он был постарше остальных. Всех этих юношей

Господь одарил и умом и разными талантами, среди которых преобладали литературные. Вместе увлекались они поэзией и прозой, многое вместе читали, спорили о Виланде, Руссо, Сен-Пьере, Хераскове, Державине и особенно о Карамзине, самым громком тогдашнем писателе, принесшем в русскую литературу много нового: сентиментализм, неожиданный, очень лёгкий, гладкий и вместе с тем цветистый язык. Пробовали писать сами, конечно, невольно подражая Карамзину. Пробовали переводить. Создали “Дружеское литературное общество”. В шестнадцать-восемнадцать лет Василий, как и остальные члены Дружества, уже печатал в журналах первые поэтические опыты и переводы.

После окончания благородного пансиона его выпускники обязаны были служить. Жуковский тоже служил чиновником в скучнейшей Московской казенной Соляной конторе и одновременно урывками переводил роман Сервантеса “Дон Кишот” (тогда писали так). Начал его печатать. Перевод имел успех, и он осознал, что литература совсем не случайно уже несколько лет так властно влечёт его к себе, что только ею ему хочется заниматься. Он подал в отставку, получил её и в девятнадцать лет от роду уехал назад в родное, любимое Мишенское.

## 2

Жизнь всякого дитя прекрасна, даже если на самом деле она совсем не такова — он-то этого ещё не знает. Он радуется буквально всему, что вокруг него, и всем, кто рядом, если они не обижают его, не делают больно, а тем более, когда ласкают, любят. И за видимым миром для любого дитя есть ещё и необъятнейший, прекраснейший и интереснейший мир невидимый: те же игрушки! Разве для ребёнка они деревянные, тряпичные, глиняные или ещё какие? Это только обличье. Они — живые, они разговаривают, они смеются, делают всё то же, что делают люди: сердятся, проказничают, вредничают, любят, не любят. Есть очень, очень ласковые, преданные, без которых жить невозможно...

А Бог и всё божественное! Когда с мамой или с кем ещё опускаешься на колени перед строгими ликами мерцающих золотом икон, тёплыми разноцветными огоньками лампад и трепещущими язычками свечей и начинаешь повторять за взрослыми таинственные, завораживающие слова молитв, и вся церковь наполнена множеством людей, тоже стоящих на коленях и бьющих поклоны, и в ней дивно пахнет, в ней плывут синеватые дымки от кадила, которым размахивает облачённый во все золотое громкоголосый дьякон, и невероятно проникновенно поёт хор, а высоко-высоко из купола на всё это смотрит сам большеглазый седой Бог, пронзённый яркими солнечными полосами из узких окошек, — каким невыразимым светом озаряется тогда детская душа, какие горние вершины видятся ей — и сам Бог!..

А сказки! Как начнёт кто рассказывать, если уже и слышал какую не раз, всё равно, все, о ком речь, мгновенно вокруг тебя, и все неожиданности, превращения, ужасы и чудеса происходят и с тобой, так что дух перевести нет сил; леденеешь от ужаса и ликуешь от радости.

То же самое и когда читаешь интересную книжку: всё, всё видишь, во всем участвуешь...

А музыка! Слов никаких нет, ничего нет, одни необыкновенные звуки из фортепьяно или скрипки, или из какого другого инструмента, а картины возникают одна за другой, происходят разные события, становится весело, или грустно, или тревожно...

Взрослея, большинство перестаёт видеть такие картины, хотя в чудеса продолжают верить и взрослые. А Василий никогда не переставал, видел и видел в отрочестве, в юности, да и теперь.

Он рано начал читать по-немецки и по-французски, потом и по-английски. В пансионе он читал запоем, там всё их Дружество читало так, что надзиратели грозили наказаниями за чтение посторонних книг в классах и даже за полночь в доргуарах. Больше всего любил немцев, любил потому, что в их повестях, балладах, поэмах, драмах и даже небольших стихотворениях почти всегда было то, чем жил он сам: романтика, загадочность, чудеса, восхи-

шение всем сущим вокруг, глубокие мысли, идеи. Лучшее стихотворное без труда запоминал наизусть довольно в больших объёмах, удивляя тем друзей и знакомых. И переводил больше всего немцев, стараясь, чтобы и по-русски всё звучало так же легко и напевно, как в оригинале. Причём нередко в оригинал даже и не заглядывал, не сверялся с ним, хотя они были у него, книг привёз много, целую стенку с полками заняли в кабинете. Главное, считал он, сохранить суть, сюжет, идею, настроение и интонацию, а в частностях могут быть и вольности, просто нельзя без вольностей на другом языке, без приближения или даже перенесения на родную русскую почву.

Спал мало, просыпался всегда в пять утра, летом и зимой, умывался, одевался и, не завтракая, сразу в кабинет, за стол, продолжать начатое или записывать надуманное, представленное и сочинённое накануне.

Двухэтажный усадебный дом стоял на высоком холме. Перед ним лежал старинный сад, за которым начинался пологий спуск в овраг к узенькой речке Семьюнке. Из его окна со второго этажа справа был виден конец сада, бегущая вниз тропа и густая извилистая урема по-над речкой из ольхи, ивняка и краснотала, за ней довольно круто поднимался другой холм в кустарниках и тропах, по верху которого тянулись огороды, бани и избы села Мишенское. Их села. Большого. С большой церковью, с высокой колокольней, которые тоже хорошо просматривались меж высокими деревьями. Он сидел и не раз радостно думал, что может теперь любоваться всем этим каждое утро, в любое время дня, как всё меняется при разных погодах, на закатах, к ночи, может во все вслушиваться, и думать, думать.

До десяти, одиннадцати часов ему никто никогда не мешал.

Любил ездить. Любил любые дороги. Кроме непролазных в распутицу, разумеется. Ехал ли с попутчиками в громоздком многоместном дормезе или один в коляске, постоянно смотрел по сторонам. Потому что и на хорошо знакомом пути обязательно вдруг обнаруживалось что-нибудь новое, интересное, не замеченное раньше. А уж на незнакомых-то дорогах только успевал крутить головой. А какой разный, любопытнейший народ встречался в пути, на станциях, какие затевались разговоры, сколько случалось всяких неожиданностей, приключений! Впрочем, один тоже любил ездить, иногда только в одиночку и старался ездить: в движении, при непрерывном покачивании, потряхивании, скрипе и повизгивании колёс или полозьев, при непрерывно бегущей мимо земле, видах, небесах, — а по сути-то бегущей, проходящей зримо самой жизни, — в одиночестве уж больно хорошо думалось, очень цельно, проникновенно. И сочинялось порой отменно; он всегда держал в кармане сюртука, крылатки или шубы узкий блокнот в коже и свинцовый карандаш. И уж совсем было великолепно, когда ехал один да в своих мишенских колясках, или карете, или, как теперь, в старинном кожаном возке с квадратными застеклёнными окошками по сторонам, в котором было так уютно, привычно, да на мишенских же двух, караковой масти, крупных, сильных рысистых лошадях, незадышливых на бегу, не знавших усталости, делавших по сорок, по шестьдесят верст в день. К концу второго дня долетал до Муратова. Тем более по такой ещё неглубокой, но уже накатанной колее.

День был синевато-серебристый, тихий, с лёгким морозцем. Несколько раз ненадолго выглядывало неяркое солнце. Полозья при сильном ходе аж посвистывали. Он думал о фантастической балладе Бюргера “Ленора”. Опять не о прямом переводе, а о пересказе на русской основе. Уже мелькнуло название “Людмила”. В сознании вышлывали образы, начальные строки...

К часу пополудни остановились в заснеженном смешанном леске подкармливать лошадей, кучер разжёг костер, достали погребец. У Василия с детства был крепостной слуга Максим, но в короткие поездки он его с собой не брал. Мишенского же кучера, большого хмурого Никандру с нависшими густыми чёрными бровями и чёрной же бородой, начинавшейся чуть ли не под глазами, в раннем детстве даже побаивался, прятался от него, но тот оказался рассудительным, услужливым, любившим всерьёз поговорить о жизни и мироустройстве, и Жуковский полюбил и ездить с ним, и эти разговоры. Сидя на валежине на лёгком морозце у жаркого костерка и закусывая, любясь белизной берёз на фоне густых ёлок, они могли проговорить

с Никандрой не один час — тот мыслил о многом весьма интересно, необычно, — но ноябрьский день короток, надо было спешить, и положенных трех-четырёх часов не дали лошадям отдохнуть, двинулись дальше, а вскоре напоззли и сумерки, и темь. Но он не дремал, не спал, в этой кибитке он почти никогда не спал, даже ночами. Сидел, завернувшись в огромный овчинный тулуп, а то и полулежал, положив вытянутые ноги на две больших кожаных подушки, — и сочинял, изредка взглядывая в окошки: есть ли там луна, не замерцали ли звёзды? Шелей в кибитке не было, и становилось совсем не холодно. К внутренней темноте привыкал, а для того, чтобы что-то записать, на передней стенке имелся небольшой фонарик со свечой.

Три строфы “Людмилы” уже сочинились:

— *Где ты, милый? Что с тобою?  
...С чужеземною красою,  
Знать, в далёкой стороне  
Изменил, неверный, мне;  
Иль безвременно могила  
Светлый взор твой угасила?*

Подумал, что пора доставать огниво, записывать, и вдруг увидел Машу — ясно-ясно, тут, в темноте кибитки, перед собой, теперешнюю, прелестно-женственную. Заулыбался. Безумно обрадовался. Сказал ей об этом, сказал, до чего она стала обаятельна. Она тоже заулыбалась: “Спасибо! Спасибо!..” И сделалась ещё милей. Он сказал ей, чем был занят в этой тьме. Она вопросительно посмотрела на него, ожидая, что он прочтёт ей только что сочинённое.

Она никогда прежде не являлась ему в видениях. Ни разу — ни маленькой, ни девочкой, — и вдруг так явственно, так ярко, буквально воочию... Мало того, он вдруг совершенно явственно ощутил и её тепло, её запахи, свет, шедший от её лица — в кибитке вроде даже стало светлей.

Он прочел ей только что сочинённое, она напряжённо слушала, напряжённо глядела ему прямо в глаза. Он взволновался, не понимая этого взгляда, — и она исчезла.

А он вспомнил, что и в предыдущий приезд его был такой же напряжённый, непонятный, долгий взгляд.

Он попытался увидеть её вновь — ничего не вышло.

### 3

Младшая дочь Буниных Екатерина Афанасьевна вышла замуж по большой взаимной любви за тульского же помещика, предводителя дворянства Тульской губернии Андрея Ивановича Протасова. Он был хорош собой, она же — подлинная красавица: высокая, статная, с горделивой походкой, правильными, будто точёными чертами лица, с роскошными тёмно-русыми волосами. Её с полным основанием именовали первой красавицей губернии. Брак был счастливым. В тысяча семьсот девяносто третьем у них родилась девочка, названная Машей, а через два года вторая — Саша.

Дочери Буниных почему-то все рожали только девочек: три по две, а крёстная Василия Варвара Афанасьевна Юшкова — четверых, и к тому времени, в возрасте всего лишь двадцати восьми лет, она уже умерла.

А мужа Екатерины Андрея Ивановича Протасова в девяносто седьмом стремительно, в несколько месяцев съела скоротечная чахотка, и молодая вдова навечно облачилась в память горячо любимого мужа в траурные чёрные одежды. После Протасова остались большие карточные долги, Екатерине Афанасьевне пришлось продать его имение Сальхово, располагавшееся тоже в Белёвском уезде, и она не только расплатилась с долгами, но на оставшиеся деньги построила в Белёве дом, осенью и зимой жила с дочерьми в нём, а весной и летом — в Мишенском с матушкой. Наезжали туда и зимами — от города до него было всего пять с половиной вёрст. Там же почти постоянно проживали у бабушки и осиротевшие дочери Варвары Афанасьевны,

они были постарше Протасовых. Вдовый отец Пётр Николаевич Юшков лишь навещал их. Часто гостили у бабушки вместе с матерями и внучки Алымовы, и внучки Вельяминовы. В общем — сплошное женское да девчонье царство.

Возвращаясь туда после многомесячного отсутствия, Жуковский всякий раз поражался, до чего быстро выросла и менялась тамошняя девичья команда: Дуня Юшкова в шестнадцать лет вышла замуж и уже родила подряд двух сыновей. Анюта и Катю-Катя Юшковы превратились в зрелых, сдержанно-степенных невест. Самая младшая, Саша Протасова, всё больше походила на мать: тоже становилась будто точёной красавицей, только совершенно иного характера — весёлого, неужённого, пяти минут не могла усидеть спокойно, всё бегом да рывком, да с проказами.

А при последней встрече Василий даже несколько опешил, увидав, как повзрослела Маша, хотя ей ещё не исполнилось и пятнадцати, но вот-вот будет. Сделалась она женственной, обаятельной, мягкой, плавной; ладная фигура, руки, лицо с огромными глазами, маленький лепной рот, чуть вздёрнутый нос. Ему ужасно захотелось нарисовать её, хотя портретов почти не рисовал, в основном пейзажи. Сказал ей об этом.

Обрадовалась. Засветилась.

— Я очень по тебе соскучилась! — промолвила она негромко. — Без тебя плохо.

— Да! — подхватила присутствовавшая при сём Саша. — Без тебя совсем плохо, ты бы ездил поменьше! — И рассмеялась.

— Постараюсь! Я по вас тоже очень скучаю, — признался он, восхищённо глядя на Машу.

...Муратово досталось Екатерине Афанасьевне от отца. Оно было более чем в ста верстах от Мишенского, уже в Орловской губернии. Места похожие на белёвские: тоже холмы, покатые поля, овраги с речушками. Усадьбы там не было, а была на высоком холме обыкновенная большая изба с прирубями для изредка наезжавших господ. За избой — небольшая тенистая дубовая роща, за ней — село Муратово, а перед холмом, в неглубоком овраге, тихая прозрачная речка Орлик, за ней, на новом взгорье — деревушка со странным названием Холх, принадлежавшая уже другому хозяину. Наверное, явная похожесть всего этого на Мишенскую усадьбу и потянула сюда Екатерину Афанасьевну. В восемьсот седьмом, забрав дочерей, она прожила с ними в тамошней большой избе чуть ли не всё лето, только к избе пристроили ещё просторную открытую веранду. И начали разбивать впереди на холме парк. Она надумала строить там настоящую усадьбу с большим домом, службами. Навестивший их Василий вызвался спроектировать ей эту усадьбу, сделал детальнейший проект понравившегося ей дома, сам следил за всеми работами. Недавно двухэтажный дом с портиком и колоннами уже накрыли крышей, достраивался флигель, уже стояла людская, кухня, конюшня, сарай, в парке были проложены дорожки, устроены клумбы, принялись посаженные весной деревца, речку Орлик перегородили земляной плотиной, и в конце парка, под холмом образовался удлинённый пруд, в чистую гладь которого теперь днём и ночью смотрелась деревушка Холх.

Ходил в новом доме по пахнущим свежим тёсом и клеем покоем второго этажа, по просторной светлой зале в четыре окна, и сначала вроде снова ощутил слабое знакомое тепло и ароматы — и представил, почувствовал, будто Маша невидимо, неслышно, невесомо шагает рядом, и стал всё ей показывать, объяснять, что надо ещё доделать, сказал даже, что на днях опробовали несколько печей, и одну надо перекладывать, что от неё в правых угловых комнатах попахивает дымом. А в общем-то к весне уже можно будет, благословясь, поселяться.

Было очень приятно, радостно разговаривать с ней.

Никандру отослал в Белёв с письмом-отчётом Екатерине Афанасьевне, а сам укатил из Муратова в Москву на почтовых.

С тех пор Маша часто была с ним: он вдруг чувствовал, почти осиял её, даже мог вызвать, увидеть, поговорить, и всё чаще и чаще любовался ею. А накануне Рождества, уже в постели, уже задув свечу и смежив веки, сно-

ва ясно увидел её, светящуюся лицом, со светящимся венчиком русо-золотистых волос вокруг головы, в её любимом сиреневатом платье, обтягивающем плечи, и неожиданно взял её за эти мягко-упругие плечи, притянул к себе и крепко обнял, и она вся была мягко-упругая и такая податливая, так горячо прильнула к нему всем дивным жарким телом своим, что он запылился, задохнулся от блаженства, от страсти и желания ещё крепче прижать её, раствориться в ней.

Он никогда, кроме как ребёнком, не обнимал её.

На Крещение помчался в Мишенское.

Утром с барскими и всем селом были на водосвятии у иордани на Сёмюнке, и там он сумел ей одной, так, что никто больше не слышал, тихонько сказать:

— Я каждый день думаю о тебе, вижу тебя. Не знаешь, что со мной?

Румяная от мороза, она ещё больше зарумянилась и так же тихо ответила:

— И я думаю.

И — глаза в глаза, совсем как в его видениях, а в них — золотинки.

— Я бы совсем перестал ездить, но понимаешь — необходимо. Постарайся ездить пореже, поменьше.

Счастливо рассмеялась.

— Хорошо!

Вскоре понял он, что влюблён, что никого прекрасней, светлее её не встречал, что она ему дороже всех на свете, даже дороже матери, Марьи Григорьевны, — всех, всех. Страшно захотелось, чтобы она узнала об этом. Но как? Сказать? Написать? Но она же ещё девочка, только становящаяся девушкой. Как воспримет? Да, она тоже его любит, он видел, но как друга, как родственника, как учителя. Но у него же совершенно другая любовь, он убеждался в этом всё больше. Что из неё может получиться? В их-то обстоятельствах? Ведь ничего... Хотя почему? Нет, нет, пока не вошла в полную зрелость, в полный разум, открываться ей никак нельзя, надо подождать... Ждать! Ждать!.. Но намекнуть, если поймёт — как-то проявится, и он тоже поймёт, можно ли надеяться?

И он придумал: первого апреля восьмьсот восьмого года были Машины именины, он, конечно, приехал, и за праздничным столом поднялся и сказал, что наткнулся у французского поэта Фабра О'Энглантина на стихотворение, которое адресовано всем прекрасным девушкам, он, де, перевёл его и хочет посвятить, подарить сегодня Маше. То, что это был никакой не перевод, а собственное стихотворение, названное "Песней", он, разумеется, скрыл. И проникновенно прочёл:

*Мой друг, хранитель, Ангел мой,  
О ты, с которой нет сравненья,  
Люблю тебя, дышу тобой,  
Но где для страсти выраженья?  
Во всех природы красотах  
Твой образ милый я встречаю:  
Прелестных вижу — в их чертах  
Одну тебя воображаю.*

И далее, в том же ключе.

Маша светилась; кажется, всё поняла...

В Москве же спросил себя: а хорошо ли я сделал, что открылся ей этим стихом? Хорошо ли, если она и взаправду поняла? Двадцатипятилетний мужчина, почитаемый учитель, почитаемый поэт вдруг признаётся в любви пятнадцатилетней ученице, родственнице, которую знает с младенчества, с которой играл во все игры, — какая юная душа не восплачет огнём, какая голова не пойдёт кругом? В пятнадцать лет бывает только так — как он не подумал об этом!.. Для взрослого это непозволительно, непростительно. Стало стыдно — опять не сдержал порыв. Убедился, что любит, — да, да, чувствовал, понимал это все яней, сильнее! — но должен, обязан был сдер-

жаться и должен держаться отныне железно, пока ей не будет шестнадцать, семнадцать..

Но разве два года он выдержит?!

#### 4

Николай Михайлович Карамзин издавал журнал “Вестник Европы” всего два года — в 1802-м и 1803-м, — но сделал его самым интересным и популярным изданием в России. В первый же год напечатал и первое значительное, большое стихотворение Жуковского “Сельское кладбище”, перевод с английского Греевой элегии. Хвалил его, они познакомились, Жуковский бывал у него. Но, начав работу над “Историей Государства Российского”, Карамзин перестал редактировать “Вестник Европы”. За это дело взялся журналист Михаил Трофимович Каченовский, который одновременно преподавал в Московском университете, защитил диссертацию, стал доктором философии, адъюнкт-профессором и был там так перегружен работой, что на журнал у него уже не хватало времени. “Вестник” катастрофически хирел, плохо расходил. А издателем журнала, его коммерческим хозяином был хороший приятель Жуковского, издававший его “Дон Кишота”, “Антологию русской поэзии” и другие книги, Иван Васильевич Попов. Он, по совету Карамзина, предложил Василию Андреевичу заменить Каченовского. Тот уступил редакторство Жуковскому очень неохотно, только под напором Попова. Жуковский же взялся за журнал, потому что возмечтал вернуть “Вестнику Европы” былую карамзинскую славу — опять сделать его лучшим в России.

Активность развил необычайную: привлёк к работе всех друзей, сам писал статьи по разным животрепещущим вопросам, литературные и театральные обзоры и рецензии, переводил интересные статьи с французского, немецкого и английского, много печатал переводной прозы, переводил сам, заставил делать то же даже свою родню; Маша перевела повесть Марии Эджворт “Прусская ваза”, Дуняша помогала ей, Анюта и Катя Юшковы тоже переводили.

В отличие от поэзии и драматургии, русская настоящая новая проза тогда ещё только нарождалась, искала себя, — и начал её своими повестями Карамзин. Жуковский считал, что переводами лучшего из западной литературы помогает этому процессу. Буквально в каждом номере “Вестника” были, конечно, и его стихи, и стихи Константина Батюшкова, Василия Пушкина, Ивана Дмитриева, Петра Вяземского. Они участвовали в полемике между ревнителями архаичного тяжёлого слога тогдашнего литературного русского языка, во главе которых стоял Президент Академии наук адмирал Шишков, и так называемыми обновленцами во главе с Карамзиным, которые приветствовали проникновение в литературный русский язык лёгкости, яркости языка разговорного, приемлемых иностранных слов, ратовали за совершенствование самого его строя.

“Вестник Европы” снова стал самым популярным журналом России. “Мы, мой друг, — писала ему Марья Григорьевна из Мишенского, — все без ума от твоего “Вестника”, не только читаем, но даже учим”. Он всегда знал своих близких со всем, что писал и издавал.

Отношения с Каченовским сложились сначала самые добрые; Василий Андреевич крестил его новорожденного сына, охотно печатал в журнале его научные статьи, но после года редакторства стал замечать, что Каченовского задевает растущая популярность “его” “Вестника”, и это ранит самолюбие, и он не прочь вернуться, дабы показать, на что и он способен. Они выясняли отношения; даже обменялись весьма колкими посланиями, и в десятом году у журнала уже было два редактора, а вместе с тем и два владельца, так как редактор имел определённый доход от реализации журнала. Сначала Василий даже радовался, что так сложилось, что работали они вдвоём, и он больше времени отдавал истории, поэзии и Антологии русской поэзии, которую собирал, и она уже набиралась — два солидных тома. Однако профессор оказался не только честолюбивым, но и весьма алчным и хитрым: потихоньку, но неутомимо стал он оттирать Жуковского от журнала, прежде



всего как совладельца, а потом и в редакторстве, и в сокращении его публикаций. Жуковский, разумеется, возмущился, решил не сдаваться, в открытую выкладывал Каченовскому всё, что думает о его кознях и как будет поступать с ним сам.

Как раз в разгар сей “приятельской” баталии вдруг пришло неожиданное письмо из Мишенского: матушка с Марьей Григорьевной купили ему деревушку Холх, что была напротив Муратова за рукотворным прудом. Расплатились за неё теми десятью тысячами, выделенными когда-то Марьей Григорьевной из общего наследства маленькому Васеньке, и он сделался владельцем нескольких сотен десятин земли и двадцати трёх крепостных душ. Женские души не считались, только мужские. Туда, к Холху, уже перевезли и поставили по-над прудом бывшую большую муратовскую избу с прирубками и верандой. Для него.

Был, конечно, очень рад и признателен обоим своим матушкам и всем, им помогавшим.

Приехал же в этот новый свой дом впервые уже по подсохшим дорогам, к поздней Пасхе, в самом конце апреля десятого года, в солнечный тёплый день с высоким голубым небом, и первыми, кого увидел он у своего дома, были Маша и Саша: сажали перед верандой на разделанных грядах цветы. Обе в простеньких сереньких платьях, в простеньких соломенных шляпках, с испачканными руками, с маленькими грабельками и совочками. Остро пахло перекопанной, унавоженной сыроватой землёй. Обе радостно вскрикнули, Саша даже взвизгнула, ринулись к нему, раскинув руки, чтоб не замарать, целовали, что-то радостно тараторили, и он будто нырнул в горячее счастье, поплыл в нём — так был рад снова видеть их. И уже через каких-нибудь полчаса думал, что напрасно второй год убегает от них — от неё, прячется в работу, истязает себя работой, стараясь меньше думать о Маше, хотя она, пусть и неосознанно, всё равно все время в нём, с ним, и он совсем не случайно почти всё, что пишет, посылает сюда, зная, что она непременно прочтёт присланное и оценит, отзовётся, напишет. То есть связь между ними не прерывалась никогда. Внутренняя связь. Но не виделись-то месяцами. И сейчас, у этих свежих грядок понял, что больше не может по столько времени не видеть её, не может больше без неё.

И тем же вечером твёрдо решил, что, как ни тяжело расставаться с делом, в которое вложил столько сердца, сил и времени, как ни обидно, но Бог с ним, с Каченовским, — пускай тешится! Жить решил теперь только здесь, рядом с ней, чтобы видеть её каждый день, слышать каждый день, разговаривать, делать для неё, для них всех всё так, чтобы их жизнь стала как можно краше и радостней.

Весёлые прогулки, игры, домашние концерты и представления, громкие читки, общие рисования, музицирование — он был неистощим на выдумки интереснейших занятий и развлечений. Наладил даже выпуск рукописных газет “Муратовский сверчок” и “Муратовская вошь”, в которых описывал “исторические события в Муратовской империи”, некую якобы войну между “печенегами и пупистами”, себя называл в одной “Маршалом Василием, кавалером ордена Трёх печёнок, кардиналом и настоятелем аббатства старых париков”. А Маша именовалась “Мария, королева и самодержавный обладатель всех прелестей”. Имелись в газетах и сообщения такого типа: “Козловский поп впервые от роду пил воду, а астроном его прихода предсказывает наверное светопреставление”.

Газеты регулярно вывешивались для всеобщего прочтения.

Нашёлся у него и прекрасный напарник по сочинению всяческой галиматии, как он говорил, — двоюродный брат Маши и Саши по отцовской линии Александр Алексеевич Плещеев. Невысокий, некрасивый, широконосый, губастый, курчавый, смахивающий на негра, очень живой, талантливейший актер, музыкант, композитор, стихотворец, он имел собственный крепостной театр, сам сочинял для него пьесы и музыку, сам играл в нём, а украшением этого театра была его жена, необыкновенная красавица и великолепная певица Анна Ивановна, урождённая графиня Чернышёва, дочь фельдмаршала Чернышёва.

Их огромное, богатейшее имение Чернь находилось в сорока верстах от Муратова близ Болхова, на высоком берегу реки Негрь. С появлением Жуковского Плещеевы стали завсегдатаями Муратова, и многие они устраивали уже вдвоём: большие костюмированные празднества с профессиональными плещеевскими музыкантами, на которые приглашались соседи помещики и сходились крестьяне окрестных деревень. Жуковский сочинял комические пьески, Плещеев — к ним музыку, они разыгрывались ими на сцене вместе с крепостными актёрами. Одна называлась “Скачет груздочек по ельничку”, другая — “Коловратно-курьёзная сцена между господином Леандром Пальясом и важным господином доктором”. Несколько стихотворений Жуковского Плещеев превратил в романсы, и Анна Ивановна их великолепно пела. И Василий Андреевич несколько раз неплохо пел.

Случалось, что все они вместе с гостями снимались из Муратова и целой кавалькадой катили в Чернь, и веселье продолжалось там, да с застольем, с иллюминацией в огромном парке, с фейерверками в вечернем и ночном небе.

В самые весёлые моменты Саша заходила так, что зажимала уши ладонями, утыкалась лицом в колени и всё равно вся тряслась от смеха. А потом растирала болевшие от него щёки, но как только опять видела чудивших Жуковского или Плещеева, снова хохотала и убегала от них подальше. К шестнадцати годам она была уже ангельски красива — нежнейший голубоглазый ангел! — но ещё более непоседлива, проказлива, и поведением больше походила на юношу, чем на ангела. Любила и отлично ездила верхом, любила и отлично стреляла из ружья, отлично рисовала и писала красками, прекрасно играла на фортепьяно. Никто никогда не видел её грустной.

У Маши же и в самые весёлые минуты в глазах вдруг пробегала какая-то лёгкая тень. Он замечал и всегда хотел разгадать, какая работа шла в эти мгновения в её бездонной и такой отзывчивой на всё происходившее вокруг душе. А в общем-то страшно радовался, что добился задуманного, что они с Плещеевым сделали их жизнь такой праздничной, такой насыщенной, и чаще всего он видит и Сашу, и Машу, и их матушку по-настоящему счастливыми. Да и он никогда не чувствовал себя таким счастливым, как теперь, постоянно рядом с ней, когда она, уже восемнадцатилетняя, стала ещё мягче, ещё женственней и плавней, ещё обаятельней, жутко манящей. Он изо всех сил скрывал, как властно она влечёт его к себе, но она-то, с её чуткостью, видела, чувствовала это, и так же точно он влёт её — об этом говорили её глаза. Но словами о сём не сказано было ни разу.

А как легко и счастливо ему писалось в те времена! Как-то выкроил несколько ранних зорь, вернулся к неиспользованным заготовкам к “Людмиле” и написал почти на тот же сюжет совершенно новую балладу, которую назвал “Светлана”:

*Раз в крещенский вечерок  
Девушки гадали:  
За ворота башмачок,  
Сняв с ноги, бросали...*

## 5

Тринадцатого мая тысяча восемьсот одиннадцатого года умерла Мария Григорьевна Бунина. Он в это время был в Москве, забирал два тома вышедшей в свет Антологии. Матушка приехала сообщить ему горестную весть, легонько занемогла и внезапно тоже скончалась ровно через десять дней после своей пожизненной хозяйки и подруги. Жуковский любил их обеих, но почувствовал себя очень виноватым перед матерью, что слишком мало дарил ей тепла, хотя на самом деле это было совсем не так: сыном он был внимательным, послушным и заботливым как к ней, так и к Марье Григорьевне. Горе есть горе, печаль навалилась страшная, и если бы не существовало Маши, неизвестно, к чему бы она привела. Маша была спасением, Маша стала абсолютной жизненной необходимостью. И весной двенадцатого он сказал ей:

— Я хочу говорить с твоей матушкой о нас с тобой. Можно?

— Да! Да! — засветилась она...

Фигурой и статью Екатерина Афанасьевна походила на Екатерину Великую, как её изображают на парадных портретах, знала это и всегда невольно слегка подражала ей. Величавая, всегда в чёрном строгом платье и белом чепце; лицо её было красивей, чем у императрицы, будто точёное, кожа нежная, выразительные голубоватые глаза глядели всегда строго.

Василий встал напротив неё, в трёх шагах. Он был на голову выше неё, худой, стройный, тоже красивый: с удлинённым смуглым лицом, большие тёмно-карие глаза, чёрные брови вразлёт, каштановые волнистые волосы почти до плеч, одет в изящный оливковый сюртук и белоснежную рубашку со стоячим воротником, перехваченным сиреневатым шейным платком.

Волновался очень, но начал без предисловий:

— Я прошу у вас руки Маши!

Голубоватые глаза её удивлённо округлились, брови поползли вверх.

— Что это вы говорите? Она же ваша...

Не дал ей договорить:

— Вы знаете, мы любим друг друга. Прошу вас, сделайте наше счастье!

Она мне нужнее всех на свете, а я ей. Сделайте наше счастье!

— Постойте! Постойте! — растерялась она, осознавая услышанное. Глянула тревожно. — Вы как себя чувствуете, Василий Андреевич?

— Прекрасно, Екатерина Афанасьевна, вам это хорошо известно. Я говорю серьёзно. Поймите!

— Как же серьёзно, когда вы явно сошли с ума, что просите руки Маши, зная, что это нельзя, невозможно. Как это вообще пришло вам в голову?

— Мы любим друг друга.

— Мы все вас любим. Как и вы нас. И Маша любит вас точно так же.

— Нет! Мы с ней знаем точно, что совсем иначе.

— Это всего лишь ваши безудержные поэтические фантазии, не больше. — Екатерина Афанасьевна величаво заулыбалась. — Уверю вас, это пройдёт. Потерпите немного — и пройдёт. Сами ещё будете улыбаться вашей фантазии.

— Мы говорили с Машей о нашей любви.

Глаза Екатерины Афанасьевны гневно сверкнули.

— Как вы могли?! Кто вам позволил? Без моего ведома, без разговора со мной...

— Она не знает, что я прошу у вас её руки. Мы говорили с ней только о наших чувствах — разве на это тоже нужно ваше разрешение?

— Конечно! Обязательно! И вы прекрасно это знаете. — Она умолкла. Помрачнела. — Я не извиняю вас, но понимаю, что тоже виновата. Вы все слишком близки, слишком дружны — девочки и вы. Вы слишком много для них значите, они не просто любят, они почти боготворят вас, — отсюда эта напасть, эта ваша фантазия, помрачение. Не хмурьтесь! Не хмурьтесь! Вы же прекрасно понимаете, что никак и никогда не можете стать мужем Маши, и все-таки про-си-те её руки. Что это, как не помрачение? По-мра-че-ние! И я категорически запрещаю вам далее искушать Машу своими чувствами-фантазиями и вести с ней какие-либо разговоры на сей предмет. И больше никогда не просите её руки. Пожалуйста! Кончим этот разговор!

А он-то собирался всё растолковать, распахнуть ей душу, уговоривать, но знал, что коли сказала: “Кончим разговор”, — слушать больше ничего не будет, может даже величаво повернуться и уйти.

Так она и сделала, и он остался один в пустой гостиной у окна, за которым был большой, ещё голый апрельский парк, светило яркое солнце — он даже чувствовал, как оно нагрело окно. На аллеях парка ещё держались крупные, сверкавшие на солнце лужи, но через два-три дня они высохнут, и там уже можно будет ходить. Вглядываясь сквозь чёрные и зеленоватые стволы деревьев, различил он за парком на холме поблескивавшие серебром тесовые крыши деревни. Слышен был азартный гомон грачей, устраивавшихся в парке.

Как он надеялся утром на этот солнечный день! Специально ждал такого, весеннего...

Через два месяца, двенадцатого июня, в день летних поворотов, когда солнце пошло на зиму, а лето на жару, великая армия великого Наполеона перешла реку Неман, вторглась в Россию и двинулась на Смоленск. Все, кто в силах был держать в руках оружие, поднялись на защиту Отечества. Из добровольцев формировалось всенародное ополчение. Жуковский сразу же вступил в него и в сентябре, после Бородинского сражения, был прикомандирован к штабу Кутузова, где директор походной типографии, его друг Андрей Кайсаров выпускал летучую армейскую газету “Россиянин”. Жуковский помогал ему, писал для газеты. Выполнял различные штабные поручения, в том числе устраивал в ближних к военным действиям городах и селениях госпитали, закупал для армии сукно.

Преследуя с войсками уже отступавшего противника, на бивуаках писал в продолговатом блокноте в зелёной коже патристическую элегию-оду “Певец во стане русских воинов”, которая вскоре была напечатана, и её с восторгом читала вся армия и вся Россия, многие переписывали от руки и распространяли, многие выучивали наизусть, ибо в ней говорилось о самом важном, самом большом и кровном, чем жила тогда вся Россия от мала до велика. И как говорилось! Там шёл диалог между воинами и певцом-поэтом:

*Воины:*

*Наполним кубок! Меч во длань!*

*Внимай нам, вечный мститель,*

*За гибель — гибель, брань — за брань!*

*И казнь тебе, губитель!*

*Певец:*

*Отчизне кубок сей, друзья!*

*Страна, где мы впервые*

*Вкусили сладость бытия,*

*Поля, холмы родные...*

Он воспевал в этой элегии-оде всех великих героев, защищавших, спасавших Русь-Россию, начиная со Святослава и Дмитрия Донского, вплоть до Кутузова, Милорадовича, Платова, Коновницына, Воронцова, Платтена, Багратиона...

В Вильно Жуковский сильно простудился и слёг в жестокой лихорадке, из которой выбирался по госпиталям почти три месяца. За участие в боях был пожалован орденом Святой Анны и уволен из ополчения в чине штабс-капитана.

...Воейков приехал в мороз перед вечером в полуоткрытой кибитке, сильно промёрз, попросил водки, залпом выпил три больших рюмки, отдышался, согрелся, потом они ужинали. Мороз к ночи лютед, брёвна в стенах потрескивали, и Василий велел в их комнатах второй раз истопить печи. Когда в отведённом Воейкову покое голландка уже разгорелась, они перешли туда и уселись в кресла друг против друга. Воейков закурил тоненькую длинную вересковую трубку, поплыли сизоватые, приятно пахнущие мёдом дымки. Открыли дверцу печки, оттуда пошёл сильный жар, пришлось отодвинуться от горячей полосы пляшущих огненных отсветов, протянувшейся по низу комнаты. Печь ровню, тихо гудела, потрескивала, постреливала, они поглядывали в топку на красные, розовые и белые языки пламени и мерцающие угли и говорили, говорили который час подряд. Правда, всё медленней, раздумчивей — тепло и выпитое за ужином вино размякло, расслабило.

Они не виделись полтора года. В двенадцатом Воейков поступил в военную службу, в конную гвардию, в которой был некоторое время и до пансионата. Побывал со своим полком на Кавказе, участвовал в боевых операциях.

— Ты заметно изменился.

— Ты тоже. Неизбежность... Война... Зрелость.

— Да, хлебнули...

Средний рост, правильные черты лица, густые выщипанные чёрные волосы, чёрные же, глубоко посаженные, по-калмыцки чуть раскосые глаза под на-

висшими чёрными бровями — всё это заострилось, стало выразительней, выдавало недюжинную страсть, напористость. Держался он куда прямее, чем прежде, и уверенней, и голос стал твёрже, хотя и звучал, как и раньше, в основном через нос — он чуть гундосил. Это был, пожалуй, единственный в нём недостаток, к которому, однако, все быстро привыкали и переставали его замечать. В пансионе они одновременно начинали писать стихи и пробовали переводить, и были самыми активными членами их Дружеского литературного общества. Воейков первым из них удачно перевёл “Историю царствования Людовика XIV и Людовика XV” Вольтера и напечатал, потом ещё удачнее “Эклоги” и “Георгики” Вергилия, начал переводить “Сады, или Искусство украшать сельские виды” Делиля, привёз и его книгу, и эту рукопись с собой, чтобы продолжать свою работу здесь.

— Я так тебе благодарен, что пригласил сюда. Меня так раздражает пустая московская суета, толкотня, болтовня, сплетни, склоки, алчность, редакции, салоны, приёмы, балы, свет... После Кавказа, как снова окунулся во всё это, думал, завою, взбешусь. И тут твоё письмо-спасение. Еду и, веришь, несмотря на мороз, петь хотелось — такой кругом снежный простор, такие холмы, леса, поля, деревни, такая благодать, тишина. Слов нет, как я тебе признателен и рад.

— А я как тебе рад! — засмеялся Жуковский. — Думал, занят по горло, ни за что не приедешь, тем более перед Рождеством. Молодец! Спасибо!

Он очень радовался потому, что хотя и работал здесь без всякого отдыха чуть не целыми днями, а то и ночами, полное одиночество уже надоело, уже изводило — хотелось отвлечения. Воейков же был всегда очень разный и интересный: то злой, саркастичный, как змий, писал уничтожающие сатиры на братьев-поэтов, то непосредственный, душевный, как ребёнок, боготворил и поклонялся тем, кого любил. Жуковскому как-то прислал поэтическое послание, в котором называл его гением, своим учителем и требовал, буквально требовал: “Напиши поэму славную, // В русском духе повесть древнюю. // Будь наш Виланд, Ариост, Боян”.

Хотелось поделиться с ним главным, что мучило, и у этой жаркой, потрескивающей печки в тот первый вечер он поведал Воейкову всё об их отношениях с Машей, и какая она, как он просил её руки и получил отказ, как вернулся с войны после тяжкой болезни с надеждой, что её мать в минувшее лихолетье многое прочувствовала и продумала, помягчела к нему и к ней, и всё у них сладится, а вместо этого встретил ещё большую жёсткость: за два с лишним месяца, проведённых с ними под одной крышей в Мишенском, он ни разу не остался с Машей наедине, ни разу не смог переговорить с ней с глазу на глаз — мать ни на шаг не отпускает её от себя. И её младшую сестру тоже, чтобы ничего не могла передать, сообщить ему. Всё общение — только совместное да при посторонних, при бесконечных родственниках и гостях.

— Вижу, стена вокруг меня каменная, неприступная — и уехал оттуда в Муратово, вернее, в свою избу в Холхе. Это я тут тебя ждал, там места мало. Завтра сходим туда, покажу. И что теперь мне делать, думаю, думаю — всё впусую.

— Не отступать! — почти вскричал Воейков. — Ни под каким видом не отступать! Проси руки Маши ещё раз. Откажет — снова проси! Возьми осадой, изводом, измором.

— Ничего другого не остаётся.

— Она красива — эта Маша?

— Да как тебе сказать... Она обыкновенная... и необыкновенная, единственная. Её нельзя пересказать словами... Я не могу...

— Господи! Как мне уже хочется увидеть её! Если её полюбил ты, Жуковский, представляю, какое она диво!

Василий улынулся, потом задумался.

— Знаешь, а ведь это хороший предлог: познакомить тебя с ними. Они знают твои стихи, твои книги, я рассказывал о тебе. Мы можем поехать туда на Рождество. А?

Воейков, голосуя за, поднял вверх обе руки.

По утрам оба работали в разных комнатах, после обеда гуляли. Жуковский показал ему свою обитель за прудом, шли туда прямо по льду, на котором деревенские мальчишки раскатали ледяные дорожки, и они по ним тоже с удовольствием и смехом прокатились несколько раз. Водил его по своей деревушке, староста угостил их холодным густым молоком с пахучим свежим чёрным хлебом. Воейков жмурился от наслаждения, как кот, и говорил, что никогда в жизни не едал и не пивал ничего вкусней. Чёрные глаза его при этом превратились в щёлочки и маслянисто блестели. Суховатый старик-староста был польщён, благодарно кланялся. Жуковский водил Воейкова и в дубовую рощу за усадьбой, хотел показать там древние огромные раскидистые дубы, но снег в роще был такой глубокий, что вязли по колени, шагов через сто взмокли, сдвинули шапки на затылки, распахнули воротники и вернулись, ступая в свои же глубокие ямки-следы. Водил он его и в село Муратово, показал украшенные затейливой резьбой избы, в тамошней скромной старенькой церкви поставили большие свечи в поминовение всех погибших в отгремевших битвах, батюшка по их просьбе отслужил панихиду. Две молодые и две пожилые бабы негромко и проникновенно пели на клиросе. По-прежнему крепко морозило, но Воейков просил ещё куда-нибудь сходить, ещё что-нибудь ему показать, с кем-нибудь познакомиться, и полтора, два, а то и три часа они ходили-гуляли ежедневно. Воейков всем любовался, восторгался, блаженствовал, говорил, что такой отрадной, полезной и плодотворной жизни у него, пожалуй, прежде никогда и не было. После прогулок ещё немного работали, а вечерами сидели у той же помаленьку топившейся печки. Гость покуривал свой приятный, пахучий табачок, пускал сизоватые дымки, они читали друг другу написанное за день или в последние дни, или что-то старое, обсуждали, спорили, говорили о разных разностях, но в основном, конечно, о литературе, о войне, о друзьях и товарищах, погибших и пострадавших в ней. Жуковский рассказал, как разорвавшееся шальное ядро в тринадцатом году под Ганау в Пруссии буквально изрешетило Андрея Кайсарова.

— Он был огромного таланта, и литературного и исследовательского, писал научные труды, профессорствовал в Дерптском университете.

Погрустили.

— Слушай, а его кафедру в Дерпте никто не занял? — спросил потом Воейков.

— Говорили, что пустует.

— Я бы с удовольствием занял её. Мне без места никак нельзя. Знаешь же, какие у меня доходы.

— А что! Ты прав, преподавание — святое дело, лучше не придумаешь. Давай попросим Уварова с Тургеневым — они в больших чинах, может, подействуют.

— Давай! Буду вечно признателен.

Жуковский написал друзьям письмо, Воейков сделал приписку.

В один из вечеров Воейков сообщил, что у него появилось кое-что новое в “Дом сумасшедших”. Года уже три или четыре назад он надумал объединить свои старые и новые сатиры на братьев-поэтов и литераторов в своеобразную большую поэму, которую можно было бы продолжать бесконечно, для чего стал помещать, “упрятывать” всех своих “героев” в сумасшедший — жёлтый — дом, причём в совершенно конкретный, реально существовавший в Петербурге за Обуховым мостом. Никакой большой поэмы ещё не существовало, лишь отдельные её фрагменты, главки-персонажи, а в литературно-художественных кругах Москвы и Петербурга ею уже пугали, многие боялись, что Воейков и их обличит, власть и зло раскритикует и засунет навечно в свой “Дом сумасшедших”, который, конечно же, будет когда-нибудь напечатан целиком, а стало быть, останется на века.

...Во второй половине следующего дня опять шёл редкий тихий снег. Они возвратились с гулянья заснеженные, начали меж колоннами отряхиваться, и в этот момент тройка гнедых рослых мишенских коней подкатила к дому большой заснеженный возок, из которого первой выпорхнула в беличьей шубке и беличьей шапке Саша, за ней в лисьей шубке Маша и, наконец, медленно вылезла Екатерина Афанасьевна в большой, тоже лисьей дохе и енотовом

капоре. Это было так неожиданно, что Жуковский и растерялся, и безумно обрадовался — они вроде бы не собирались сюда. “Выходит, Афанасьевна переменилась к нему, коль приехала с дочерьми, приехала именно к нему!” — подумал он в первые мгновения, подходя к ним. Саша же выпалила: “Здравствуйте!.. Здравствуй! Не ожидал!” — и завертелась, оглядывая причудливые снежные узоры вокруг, восторженно засмеялась, захлопала в ладоши.

— Маменька! Маша! Это же чудо что такое! Смотрите! Смотрите!

Но радостно улыбающаяся Маша смотрела лишь на него, а он на неё.

— Видим, Сашенька, видим! В самом деле, очень красиво, — согласилась Екатерина Афанасьевна, опираясь на протянутую ей руку Жуковского. — Представьте нас, Василий Андреевич!

Увидав Сашу, Воейков будто застыл меж колоннами, глядел только на неё, и сейчас, восторженно, представляемый матери, Маше и Саше, всё равно не сводил горящих чёрных глаз с неё одной. Она, как и все остальные, конечно, это сразу заметила, но, как обычно, привычно не очень-то обратила внимание, так как в неё, в этого голубоглазого ангела во плоти, сходно влюблялись абсолютно все молодые, да и немолодые мужчины и многие женщины.

Оказалось, что Плещеевы, не видевшие Жуковского после войны, пригласили всех на Рождество к себе в Чернь, потому за ним и заехали. А они теперь пригласили туда и Воейкова, зная, что Плещеевы будут ему тоже рады, ибо знают и любят его стихи.

Воейкова было не узнать, он словно выросстал, стройнел на глазах, хотя на самом деле был довольно кряжист: он легче, чем обычно, двигался, светло улыбался, почти не говорил в нос, а глуховато, вкрадчиво; сощуренные чёрные глаза его непрерывно загадочно горели; он удачно острил, каламбурил, ко всем был внимателен, галантен. Екатерину Афанасьевну слушал с великим почтением, а Сашу — просто с восторгом. Да и Машу. За ужином обе вдруг принялись вспоминать, какие здесь, в доме и усадьбе совсем недавно устраивались великолепные спектакли, концерты, гуляния, фейерверки. Саша с гордостью сообщила Воейкову, как она побеждала на здешних скачках и стрельбах.

— Невероятно! — почти испуганно ахал Воейков. — Вы, такая неземная — и скачки! Не может быть!

— Может! Может! — улыбаясь, уверяли его Маша и Екатерина Афанасьевна.

Вспомнили и потешные газеты, которые выпускал здесь Василий Андреевич.

А Воейков рассказывал им про Кавказ, про то, как красивы горы, особенно Казбек с его двумя остроконечными снежными вершинами, как своеобразны и шумливы горные реки, какая буйная, богатая там растительность, какие сложные уступчатые виноградники и роскошные могучие леса растут по склонам, и как, поднимаясь вверх, они мельчают и начинаются скалы, опутанные разными колючками, а потом и вовсе голые, зачастую совсем отвесные, забираясь на которые, иногда вдруг чувствуешь на лице и руках какую-то сырость и видишь вокруг себя такую же туманную сырость.

— В первый раз я не понял, что это, и спросил попутчиков, что это за морось? А они засмеялись и сказали, что это облака, что мы поднялись в облака. Это были мои солдаты, конногвардейцы. Там одному в горы никак нельзя. Потому что за любой расщелиной, на любом уступе может таиться чеченец или черкес с ружьём, а стреляют они очень метко. И рубятся саблями превосходно. И наездники лихие. Что молодые, что старые. Конь, сабля и ружьё, нет, еще аркан волосной для каждого чеченца, черкеса, кумыка, любого горца — самое главное. Потому что все войны, все воюют против нас, а некоторые — ещё и между собой, по кровной вражде мстят. Не отомстить за гибель близкого, родного человека — величайший грех для мусульманина, величайший позор. Такой человек будет проклят в веках.

— Нам-то, русским, за что мстят? — ужаснулась Екатерина Афанасьевна. — Ведь, сколько помнится, Кавказ сам под русскую державу пришёл.

— Часть народностей действительно сами, а часть ни в какую не хотят в Россию. Там ведь их очень много, народностей-то, есть вовсе маленькие, живут тесно, тут — мирные, а за горой — уже чистые дьяволы. Хотя днём в аулах и у них полная тишь да гладь. Мужчины вечером сидят возле какой-нибудь сакли вокруг горшка с курящимся табаком — кальян называется, — и через трубки длинные потягивают оттуда дым. Я пробовал — приятное курево. Спокойные, молчаливые, рассудительные. Внешне — никакой злобы, ненависти. Но как стемнеет — ночами, на рассвете, — они же ватагами, на конях и пешими, в одиночку по ущельям, лесным зарослям и на скалах потаённо, внезапно, подло стреляют, налетают, рубят, а хуже всего — если арканят и увозят, увозят живём. Тогда непременно жестоко истязают и отрывают головы, и на шест их, на всеобщее обозрение и ликование.

Девушки и матушка сидели ошеломлённые, побледневшие. Потом закрепились, переглянулись. Потом Саша тихонько спросила:

— Вы участвовали с ними в сражениях?

— В стычках не раз.

— Бог миловал?

— Да, только левую ногу пуля задела, но теперь уже зажило...

Воейков очень им понравился. Жуковский и не предполагал, что он может быть таким оборвожительным.

...А вечером наедине Воейков обречённо сказал Жуковскому:

— Я пропал. Влюбился.

— Я не виноват! — пошутил Жуковский.

— Я серьёзно. Как обожгла! Ничего похожего никогда не было. Я погиб! Что делать?

— Как тут можно советовать. Думай сам... А как тебе Маша моя?

— Небо и... — он осёкся, задумался. — Извини, не разглядел. Смотрел только на сестру. Извини, ничего сказать не могу...

Однако Василий видел, как он разглядывал и Машу. “Не впечатлила, решил не откровенничать. Ладно!”

Почему Екатерина Афанасьевна сразу дала согласие на брак Саши с Воейковым, Жуковский понял лишь много позже, спустя многие годы. Знала ведь, что наследственное имение у него совсем крошечное, три десятка душ, капиталов никаких, что живёт он в основном изданием книг да собственных сочинений. Так что единственным их будущим обеспечением была половина Муратова, которую она давала за Сашей; вторая половина предназначалась Маше — доходы тоже невеликие. И все-таки сразу согласилась, и помолвку назначили скорую — на май. Удивлялся, но на помолвке, конечно, был. От души поздравлял и Сашу, и друга, хотя сердце всё-таки легонько туманило: прежде он всегда представлял себе, что будущий муж Сашенции должен быть таким же блестящим красавцем и умницей, как она, и вдруг — Воейков. Нет, он вовсе не худ, но... не совсем, что ли, для неё, хотя любит безумно, и она влюбилась без памяти, замороженная его кавказскими подвигами и жаркими, яркими речами. “Дай им Бог счастья! При такой-то любви! Дай Господь, пожалуйста!” А от себя надумал подарить им на свадьбу десять тысяч рублей: продать свою деревушку Холх за такие деньги — и подарить. Никаких иных денег и богатств у него не было. Сказал об этом Екатерине Афанасьевне, но попросил, чтобы до свадьбы держала намерение в секрете. Она расчувствовалась, расцеловала, благодарила, нахваливала. Она давно не была такой деятельной и довольной, как на помолвке и в подготовке к свадьбе. Часто улыбалась, подобрела. Отношения с Жуковским установились самые тёплые, и месяца через полтора после разговора о подарке, оставшись с ней наедине, он сказал:

— Ну, вот, теперь младшая ваша дочь устроена. Сделайте счастье и старшей, я снова прошу у вас руки Маши!

Екатерина Афанасьевна молчала. Сидела в кресле, опустив голову, и молчала.

Он стоял перед ней. Повторил:

— Я снова прошу у вас руки Маши!

Она сокрушённо вздохнула.



— Как я надеялась, что за минувшие два года, за войну вы остынете, одумаетесь. Вы столько повидали, пережили. Мы все пережили. Неужели ваше сердце не утихло?

— Утихло?! Оно полыхает! Оно жжёт! Я не могу жить без Маши! Поймите, не могу! Вы это прекрасно видите. Месяц еле выдерживаю, не видя её. Приезжаю! Приезжаю!

— Полноте! Это всё ваше воображение.

— Нет! Нет! Я безумно люблю её. И вы прекрасно это знаете...

— И знаю, что, как настоящий большой поэт, иначе и не можете любить. Только безумно. Но это не та любовь. Вы сами себя отуманили, одурманили.

— Та! Та! Вы это тоже знаете, и напрасно хотите переубедить меня. Не тратьте время — не переубедите! И Машу зря отгораживаете от меня, не даёте нам общаться. Знаете ведь, что она тоже любит меня.

— Ошибаетесь! Я уже говорила вам: глубоко ошибаетесь. Это совсем другая любовь, она слишком привыкла к вам, привыкла с младенчества, не знает человека лучше вас, интересней, красивей. И это правда: вы действительно таковы, вас невозможно не любить. Вспомните, как любила вас моя матушка, ваша, вспомните мою старшую сестру, вашу крёстную. Да все мы! Я говорила об этом с Машей, она согласна: её любовь именно такова. И чем быстрее вы это поймете — именно вы! она уже поняла, — тем лучше будет для вас, для неё, для нас всех. Иначе — драма, трагедия — тоже для всех, может быть, страшнее, чем в ваших балладах. Поймите! Я потому так длинно сейчас и говорю, что хочу спасти уже только вас. Маша уже поняла.

Екатерина Афанасьевна поднялась с кресла, вскинула голову, раскраснелась, крепко сжимала у живота руки — так сильно хотела убедить его.

Но он недавно, оказавшись рядом с Машей, шёпотом известил её, что снова будет просить её руки, не возражает ли она? И она, просяив, прошептала: “Что бы тебе ни говорили о моих чувствах — не верь! Они ещё сильнее!” Значит, разговор у них был какой-то иной, чем трактует его мать.

— Я понял... вы и Машу старались убедить в том же, в чём убеждаете сейчас меня. Потому, что слишком хорошо видите и чувствуете, насколько не правы, насколько истинна и велика наша любовь. Зачем? Зачем вы делаете это зло?

— Зло?! Я делаю зло?! Я спасаю вас обоих от дурмана, а вы... — Кровь отлила от её лица, глаза горели гневом. Она величаво распрямилась, медленно опустилась в кресло. — Господи! Господи! Вразуми их! — Перекрестилась. — Я веду с вами разговоры, которые мы вообще не должны бы вести, которые непозволительны, противоестественны, а вы ещё... Дядя просит руки своей племянницы! Какая церковь вправе освятить такой брак?! Я ведь недаром спрашивала в прошлый раз: как вы себя чувствуете, Василий Андреевич? Дурман! Полный дурман! Жаждете прелюбодеяния! На церковном языке это называется так.

— Не усугубляйте! Я не полный её дядя, и вам брат лишь сводный, вы могли бы вообще ничего не знать о моём существовании, сколько по Руси и по миру таких побочных детушек. А сколько браков между кузенами и кузинами двоюродными! Церковь их разрешает... А если я получу разрешение на наш брак?

— Господи! Господи! — Она схватилась за виски, сильно сжала их.

Он повторил:

— Если я получу разрешение Церкви?

— Его не будет никогда.

— И всё же?

Она не ответила. Смотрела на него тяжело и скорбно.

Он тоже сел в кресло, стоявшее слева от неё. Долго молчали. Он мучительно соображал, что бы сказать ещё, как бы всё же поколебать её — но так ничего и не придумал. Заговорила она. Повернулась к нему и заговорила:

— Послушайте меня, Василий Андреевич, поотсутствуете, пожалуйте, ещё некоторое время!

— Вы отказываете мне от дома?! — вскинулся он.

— Бог с вами! Как вы могли подумать! Не обижайте меня!.. Просто я убеждена, что чем меньше вы будете видеться после столь уже долгих разлук, тем вернее остынете, наконец, друг к другу, быстрее одумаетесь и поймёте, как я права, что нет и не может быть у вас никакого будущего. Может быть только драма, трагедия. Нужны они вам? Нам?

## 7

Было ветрено, холодно, а Дуняша выскочила встречать его в лёгком платье с укороченными рукавами, с рапахнутым воротом.

Он быстро взбежал по ступеням, сердясь, увёл её в дом.

— Право, как дитя!

Расцеловались.

— Ну что? Рассказывайте!

— Погоди! Как дети?

— Слава Богу! Они в детской, ждут вас.

Слуга понёс его вещи в отведённые ему комнаты, они пошли следом, и он вкратце пересказал ей свой позавчерашний разговор с Екатериной Афанасьевной.

— Ах, тётушка! Попросила *поотсутствовать*! Делает несчастье самым близким людям, нисколько не думая о вас, а только об себе; чтоб все видели, какая она истая христианка и какой железный, державный у ней характер.

— Говорит, что только о нас и думает, спасает нас. Говорит очень искренне.

— В том-то и дело, что искренне. Только сердце-то у неё каменное или и вправду железное. Как его пробить?! Как?

— Я написал вчера в Петербург Тургеневу, чтобы он переговорил с митрополитом Филаретом, передал мою просьбу, разрешить наш брак с Машей. Если он разрешит, Афанасьевне ничего не останется, как...

Дуняша запрыгала, чмокнула его в щёку.

— Великолепно! Великолепно! Вы умница.

Невысокая, крепенькая, с острым носиком, выпяченными губами и глубоко посаженными, очень живыми, темно-серыми глазами, она была всегда удивительно энергична, непосредственна и сердечна. И выглядела нередко совсем прежней, восторженной девочкой, хотя имела уже двоих сыновей, пережила страшную личную трагедию. И была она всего на шесть лет моложе Жуковского и всего на четыре года старше Маши. С Машей они дружили так крепко, как ни та, ни другая не дружили больше ни с кем. И открывали друг другу буквально всё, в том числе и то, чего не знали ни матушка, ни сестра, ни Жуковский. И переживала Дуняша все Машины перипетии по своей сердечности даже сильнее, болезненней её.

...Кабинет Дуняша устроила ему в отдалённой угловой большой комнате, откуда было видно, как занимается заря и поднимается солнце. Работая тут, Жуковский в солнечные дни почти до полудня купался в его тёплых и жарких, слепящих лучах, даже надевал от них собственноручно изготовленный картонный козырёк на резинке и каждый день наблюдал, как солнце приветливо будит землю, как потом радостно касается всего, что есть на ней, будто за ночь сильно соскучилось по деревьям, домам, крышам, дорогам, человекам, каждой живой твари — по всему-всему.

Жуковский перевёз в Долбино большинство своих книг — в кабинете по его просьбе сделали хорошие полки на целую стену. Над столом повесил рисованный им портрет Маши, с которого она неотступно, постоянно смотрела на него, когда он работал.

Просыпался он от того, что в уме складывались строки; складывались во сне или при пробуждении — он не улавливал, всё происходило в каком-то полусне-полубодствении, но после уже не спал, хотя глаз не размыкал и не шевелился — продолжал складывать дальше легко и быстро, строк во семь-десять, редко больше, но всегда самые нужные, важные, которых ждал накануне утром или днями. Голова была ясная-ясная, слова все точные-точ-

ные. Повторял строки раз, два, три, проверяя смысл и звучание, и запоминающая — всё это по-прежнему не размыкая глаз и не шевелясь. Редко когда приподнимался, запалил свечу и записывал родившееся в лежавший всегда рядом на столике альбомчик. В основном же, твердя накатившее, быстро, блаженно засыпал. Случалось, ещё раз за ночь так же неожиданно пробуждался с продолжением предыдущего, и поутру, едва умывшись, сразу садился к столу и слово в слово переносил всё на бумагу, правил очень редко. И писалось дальше всегда ходом, легко, легко, часами, а мог бы, наверное, писать и сутками напролёт, потому что он жил в таком состоянии в своём втором, а может быть, и главном, более важном мире, чем мир реальный, который есть только у поэтов и иных художников.

Часто поднимал глаза на Машин портрет. Она неотступно смотрела на него. Он — на неё.

Писал, писал и писал. Завершил перевод баллады Саути “Лорд Вильян”, но назвал её “Варвик”. Перевёл балладу того же Саути “Радигер”, назвав её “Адельстан”. Начал переводить шиллеровские “Ивиковы журавли”.

Сюжеты новых, как и прежних его баллад, были острейшие, фантастически-мистические, полные чудес, привидений, выходящих из могил мертвецов, чудищ, злых и добрых духов. Он считал, что чем таинственней и увлекательней рассказанная поэтом история, тем большее она произведёт впечатление и воздействие на читателя. Переводил и стихи, делая их, как и баллады, чаще всего значительно лучше оригиналов.

И сам удивлялся, сколько успевал в этом Долбино, борясь с то и дело накатывавшей, истязавшей его тоской безысходности.

...Но, что бы ни делал, в сознании всё равно вдруг вспыхивало: Маша! Маша! Не имя, а что-то огромное, единственное на всём белом свете, без чего совершенно невозможно жить, и его насквозь, от макушки до пят, прожигало одно невыносимое желание: видеть её! Просто видеть! Глянуть в ясные распахнутые глаза, услышать её воздушно-лёгкое дыхание...

Пытался скрывать от Дуняши эти приступы и невыносимо сжимавшую после них душу и тело тоску, но она по своей чуткости всё подмечала, понимала, тоже страдала и придумывала какой-нибудь предлог, по которому они могли бы вдвоём неожиданно нагрянуть в Мишенское. Она бы отвлекла тётушку, а он тем временем повидался бы с Машей — поддержал бы, ободрил её — тоже ведь мучается. А раз, разгорячившись, вдруг заявила, что выход есть только один: надо собраться с духом и просто выкрасть Машу, увезти и обвенчаться тайно.

Он рассмеялся.

— Полагаешь, мы способны на такое?

Успокаиваясь, помолчала, вздохнула, махнула рукой.

— Конечно, нет.

— То-то! Я же согласился поотсутствовать. Дал слово.

— Да... да...

Ни тени лицемерия и лжи, никогда никому никакого зла, только добро, чтобы совесть была чиста, как слеза, — только тогда человек имеет право быть поэтом, писателем, учителем, наставником других. Ибо литература не развлечение, не услаждение и удовольствие, а проникновение в самое главное, высокое, божественное, во что должен проникнуть каждый, пока он пребывает на Земле. Войдя в разум, Жуковский думал только так и делал, старался делать себя только таким. Хотя сил порой не хватало. Ох, как не хватало! И теперь тоже, когда внутри полыхал этот испепеляющий огонь. Гасил, гасил — и не мог погасить. Хотел, хотел, безумно хотел её видеть. Думал, думал и думал о ней, о них. Полыхал и полыхал. Старался и старался победить себя.

И вдруг Дуняша объявила, что какое-то время назад отправила Екатерине Афанасьевне письмо, в котором предложила: если та считает брак Жуковского с Машей великим грехом, то она, Авдотья Петровна Киреевская, готова уйти в монастырь, постричься, чтобы там пожизненно замаливать этот грех. То есть предложила себя в жертву, чтобы только эти два великодушных человека обрели счастье, которого заслуживают больше, чем кто-либо.

И вот от Екатерины Афанасьевны пришёл ответ. Она протянула его Жуковскому.

Об этой её затее он не знал.

“Дуняша, милый друг, ты меня ужасаешь, — писала тётушка, — что это за предложение ты мне делаешь? Ты всё забыла! Бога, детей, Машу, твои должности, о себе я уже не говорю; ты ни о чём не думаешь, кроме страсти Василия Андреевича, и для удовлетворения её ты всё бросаешь. Какая мысль у тебя о Боге; сперва ты сама говоришь, что Он милосерд, потом предлагаешь Ему себя жертвой...”

Преступление! Погубить твоих невинных детей, тебя заключить в монастырь, позволить влюбдеянии жить дочери — Церковь не признает брака между родными — и быть счастливой, как ты говоришь. Дуняша, каким ты меня извергом воображаешь? Ежели бы ты видела все слёзы, которые вылились на это письмо, право, ты пожалела бы мне этакое предложение...

Я пойду в монастырь точно, и от раскаяния, что моей привязанностью и глупой доверенностью погубила Василия Андреевича. Это моя неосторожность всё сделала... Я всему этому виною, я допустила усиливаться страсти Василия Андреевича. А за Машу я и теперь ручаюсь, что она не влюблена, а несчастлива тем, что знает в неё влюблённым человека, которого она с ребячества привыкла любить... Мне очень жаль, что ты при мне с ней не говорила; ты бы увидела её любовь ко мне, истинное и благоразумное суждение, совсем страстью не помрачённое... Любовь моя к Василию Андреевичу так чиста, так непорочна, я заблуждалась и думала ему заменить матушку, батюшку, Елизавету Дементьевну и даже видела и в нём к себе истинную любовь брата, а это было всё одни искания для получения Машиной руки. Ежели бы он видел мои мучения, как меня убивает его положение, он по прекрасному своему сердцу старался бы себя победить...”

Да, он старался, старался... И она знала, что Дуняша непременно даст ему прочесть это письмо.

## 8

Вряд ли кто-нибудь из присутствующих видел когда-нибудь такую божественно красивую и сияющую новобрачную, как Саша. Так счастливо улыбающуюся, с такими восторженными глазами. Венчавший их священник — и тот, взглядывая на неё, расплывался в улыбке, и голос его звучал все теплей и ласковей. И как ни наряден и ни торжественен был в чёрном фраке Воейков, рядом с ней, воздушно-белоснежной с головы до пят, он смотрелся не больно-то ей подходящим. И кажется, мгновениями сам ощущал это: в тоже счастливых глазах его вдруг мелькало тревожное напряжение. Только мелькало, потому что слишком радостна была она, соответственно и он, и все многочисленные гости и в церкви, и дома.

Подарки были преподнесены, и самое большое впечатление произвели десять тысяч Жуковского. Новобрачные не знали, как благодарить. Маша, радуясь за них, хлопала в ладоши. У Екатерины Афанасьевны, знавшей о подарке, всё равно навернулись прочувствованные благодарные слёзы.

А Жуковский в застолье ещё и поднялся, показал всем небольшую новенькую книжицу, сказал, что это только что вышедшее второе издание баллады “Светлана”. Первая разошлась в двенадцатом году в несколько дней и сразу же стала знаменитой, только война на время отвлекла людей от подобных творений. Развернул эту книжицу и показал, что в ней есть печатная дарственная, что автор дарит свою “Светлану” А. А. Воейковой в najważнейший её день.

И прочёл начальные строки баллады, а потом и новую концовку, специально для Саши написанную:

*Улыбнись, моя краса,  
На мою балладу,  
В ней большие чудеса,  
Очень мало складу.*

И передал книжку Саше.

Все бурно аплодировали. Саша порывисто поднялась, подняла и Воейкова, они подошли к нему, горячо благодарили, целовали, смеялись, говорили что-то восхищённое, но он не расслышал, потому что застолье тоже восхищённо гудело и аплодировало ещё громче.

Было четырнадцатое июля, но, ко всеобщей радости, совсем не жарко.

Была музыка. Были танцы. Пение. Вечером разноцветные фонарики горели в парке. Все гуляли. На другой день кавалькадами на убранных лентами, цветами и нарядными сбруями с бубенцами тройках ездили в Белёв, в огромный Долбинский парк, там было устроено гулянье для народа. Продолжались и застолья. На третий день тоже.

Маша три дня была рядом. Временами совсем близко, за столом так через три человека, но им опять ни разу не удалось остаться вдвоём, наедине. Екатерина Афанасьевна, несмотря на всю свою свадебную озабоченность и хлопотливость, ни на шаг не отпускала её от себя. Будто приклеила. Глаз не спускала. Но он — как увидел её, как увидел, какой радостью вспыхнули её глаза при его появлении, как почувствовал при поцелуе, как тепла, трепетна, отзывчива её рука — так исчез, испарился из души сжигавший её огонь. Всем существом своим он ощутил, что ничего в ней не переменялось. И взглядами стал уговаривать, чтобы ещё потерпела, чтоб сработало само время и всё улеглось бы после этой скороспелой свадьбы, чтобы успокоилась, наконец, матушка.

Воейков, конечно, знал о втором отказе Жуковскому, знал от него, возможно, и от неё. И на общей прогулке в парке во второй день увлёк его в боковую аллею и заговорил о том, что тёща к нему весьма расположена, и он теперь изо всех сил постарается убедить её в том, насколько она не права, считая Жуковского кровным родственником. “Не возражает ли Василий против таких его стараний?” — “Конечно, нет!” — “Убежден, что преуспею, и вскорости мы погуляем и на вашей свадьбе. Устроим такую грандиозную, что все ахнут! Карамзина пригласим, друзей. Сам Жуковский женится!”

Говорил так горячо и убеждённо, и тёща действительно благоволила к нему — это все видели, — так что Жуковский поверил: у него может получиться! И заранее был признателен другу.

## 9

Вскоре Воейков праздновал в Муратове день своего рождения. Тёща уже передала ему права на управление имением, и он явно хотел продемонстрировать это.

А недели за две до того Жуковский получил письмо от Уварова, сообщившего, что должность профессора словесности в Дерптском университете для Александра Воейкова добыта, что тот официально об этом уведомлён Министерством просвещения с назначением сроков прибытия в Дерпт и вступления в должность. Жуковскому же всё это сообщается для совместного разделения успеха и ликования с одним из закадычных друзей. Петербургская их часть уже отликовала. Так что при встрече Василий от души поздравил Воейкова не только с днём рождения, но и с этой огромной удачей. Воейков благодарил: “Да, да, слава Богу!”. Но гости шли косяком, он всех встречал, всем распоряжался, был на разрыв, и всерьёз об этом важном событии они практически не поговорили ни при встрече, ни через час, ни через два, а потом уже сели за стол, начались тосты, потом по просьбам гостей Воейков начал читать, как он сам определял, “некоторые портреты некоторых литераторов” из своего “Дома сумасшедших”. Прочёл Шишкова, Глинку, затем новое...

— А Василий Андреевич есть? — зашумели за столом.

— Теперь есть.

— Просим! Просим!

*Вот Жуковский, в саван длинный  
Скутан, лапочки крестом,*

*Ноги вытянув умильно,  
Чёрта дразнит языком,  
Видеть ведьму воображает  
И глазком ей подмигнёт,  
И кадит, и отпевает,  
И трезвонит, и ревёт.*

Все смотрели на Жуковского — как оценит он? А что тут было оценивать! Усмехнулся. Сказал со вздохом:

— Пожалел!

— Слишком тебя люблю.

Где-то через час или полтора Воейков неожиданно стал громко рассказывать, как именно здесь, в Муратове, он впервые увидел несравненную Сашу Протасову и мгновенно влюбился, “буквально очумел и до сих пор не могу опомниться, не верю своему счастью”. А потом, мол, стал постепенно влюбляться и в её матушку — удивительную Екатерину Афанасьевну, женщину не только поразительно красивую, но ещё более поразительной твёрдости характера и духовной силы. И теперь счастлив, что она его тёща, и что он ей как сын, а она ему как вторая мать. И провозгласил тост за её здоровье, долголетие и всяческое благополучие.

Афанасьевна сияла от такого пафоса.

Чёрные же глаза Воейкова всё больше сужались и маслянисто блестели. Так бывало, когда он хмелел или злился. Впрочем, хмелея, он всегда злился. Неужели перебрал — удивился Жуковский. Давно ведь держался, не позволял себе.

Через несколько минут Воейков снова поднялся и объявил, что не кончил, что должен продолжить, что в этой редкостной семье есть ещё один необыкновенный человек, его дорогой, любимейший друг, дружбой с которым он счастлив и безмерно гордится, Василий Андреевич, о котором он узнал нечто совсем удивительное, только войдя в эту семью: то, что Василий Андреевич фактически заменил Саше и Маше рано умершего отца, стал их отцом-воспитателем, сделавшим вместе с Екатериной Афанасьевной из них два необыкновенных цветка, которые мы видим тут, перед нами.

— За тебя, мой дорогой Жуковский — фактический отец! Я горжусь тобой!

Екатерина Афанасьевна величаво кивала головой в знак согласия с зятем.

Маша и Саша недоуменно переглянулись.

Жуковский опешил: вот так похвалил!

Да и многим за столом стало не по себе, ибо большинство знало о происходившем в их доме, многие были на стороне Жуковского, но были и подерживавшие Афанасьевну, — и ляпнуть в этих обстоятельствах о фактическом отце можно было только с одной целью.

Жуковский даже смотреть не мог после этого на Воейкова.

По завершении застолья, уже на закате все перебрались в сад, разбились на группы, гуляли, разговаривали. Воейков к Жуковскому не подходил. Показалось даже, что, завидев издали, старался поскорее удалиться. Вспомнилось, что вёл он так себя с самого утра. Зато вскоре его разыскала среди гуляющих Саша, взяла под руку, увела в сторону и принялась благодарить от имени мужа и от себя за должность в Дерптском университете.

— Ты — чудо, Базиль! Спасибо! Спасибо! Спасибо!

— Ты преувеличиваешь. Просили вместе.

— Главное — ты, я знаю. — Задумчиво помолчала. — Мы ещё не укладываемся, но внутренне уже собираемся. Ведь почти заграница, чужой народ, чужая речь. Матушка тоже внутренне собирается.

— Поедет провожать?

— Нет. Едет с нами насовсем. И берёт с собой Машу. Но ей пока не говорит, что насовсем. И мне запретила говорить.

— Как насовсем?! Зачем?

— Ты не понимаешь, зачем?! — В глазах Саши заблестели слёзы. — Так было решено, как только Александр объявил о соискании. Ещё зимой, к вес-

не. Я сама узнала всё совсем недавно и сочла своим долгом поставить тебя в известность. Прости, что поздно!

Вмиг он всё понял: был сговор, отсюда и поспешная свадьба, и просьба ещё поотсутствовать, и неустанный надзор.

Сделалось так худо, так мучительно, как ещё не бывало в жизни: голова налилась тяжелой болью, будто поплыла, ничего не соображая, тело перестало чувствовать. Проштал Саше: “Извини!” — и пошёл, пошёл от неё вглубь сада, вниз, к бывшему своему рукотворному пруду, стараясь прийти в себя, опомниться. Солнце зашло, сад наполнялся синевой и прохладой. Услышал, как гулявшие возвращаются в дом, скликают отдалившихся. Поспешно вернулся к ним, отозвал Сашу.

— Прости! Больше не могу! Передай Маше, что прошу у неё прощения, что не прощаюсь! Скажи, чтобы не сердилась! И ты прости! Больше никому ничего. Не волнуйся! И ей передай, чтоб не волновалась — всё образуется! Дуняше тоже.

Сам отыскал в людской долбинского кучера, который привёз их с Дуняшей, велел немедленно потихоньку закладывать и через полчаса выехал из Муратова в синюю мглу.

## 10

Всё, что терзало, — выливалось в стихах.

Сначала выплеснул мрак, переполнявший душу: всего за несколько дней вольно перевёл балладу Саути “Старуха из Беркли”, сюжет которой Саути заимствовал из средневековых английских хроник про грешников, ведьм и всеильного Сатану, творящего невероятные ужасы. Действие опять перенёс на родную землю, да в православный храм, где дьявол и действует. Называлось это теперь так: “Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на чёрном коне вдвоём, и кто сидел впереди”. По насыщенности жутью это творение, несомненно, самое жутейшее у него — мороз подирает по коже!

*Вдруг затускнел огонь во всех свечах,  
Погасли все и закурились;  
И замер глас у певчих на устах,  
Все трепетали, все крестились.  
И раздалось... как будто оный глас,  
Который грянет над гробами;  
И храма дверь со стуком затряслась  
И на пол рухнула с петлями...*

После “Старушки”, в октябре же, ответил большим поэтическим посланием на послание Василия Львовича Пушкина, жаловавшегося на травлю его писателями, членами академической “Беседы любителей русской словесности”. О том же писал ему и Пётр Вяземский. Отвечал обоим.

*Хотеть, чтоб нас хвалил весь свет,  
Не то же ли, что выпить море?*

После послания сочинил вроде бы средневековую историю о царской дочери Мирване, полюбившей простого бедного поэта-певца Арминия. Он отвечал ей тем же. Отец Мирваны узнал об этом и навеки разлучил влюблённых, выслал певца из своего царства за тридевять земель. То есть это была иносказательная их с Машей история. Писал почти весь ноябрь. Землю поливали холодные дожди. Дни были тёмные, свечи на столе гасил иногда лишь к полудню. И всё поднимал голову и смотрел на Машин портрет, как она, легко улыбаясь, неотступно наблюдает за ним. Кивал или моргал ей. Баллада получалась большой, многостраничной. Называлась “Эолова арфа”.

*Сидела уныло  
 Мирвана у древа... душой вдалеке...  
 И тихо всё было...  
 Вдруг... к пламенной что-то коснулось щеке;  
 И что-то шатнуло  
 Без ветра листья;  
 И что-то прильнуло  
 К струнам, невидимо слетев с высоты...  
 И вдруг... из молчанья  
 Поднялся протяжно задумчивый звон;  
 И тише дыханья  
 Играющей в листьях прохлады был он.  
 В ней сердце смутилось;  
 То друга привет!  
 Свершилось, свершилось!..  
 Земля опустела, и милого нет...*

После “Эоловой арфы”, в первых числах декабря, написал стихотворение-раздумье “Теон и Эсхин”. Были в древней Греции такие подлинники писатель и философ. Дружили. Теон “долго по свету за счастьем бродил — но счастье как тень убегало...” Увяла душа, в ней скука сменила надежду, и он вернулся в места своей юности к другу Эсхину, который прожил всю жизнь на том же месте, однако обрёл подлинное большое счастье, потому что любил:

*Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг,  
 Уже одиноким не будет...  
 Ах!.. свет, где она предо мною цвела, —  
 Он тот же: всё ею он полон...*

Когда читал Дуняше написанное, она замирала, бледнела, плотно смыкала и подбирала выступавшие губы, говорила, что в какие-то моменты даже затаивает дыхание — так многое её восхищает.

— По-моему, вы никогда не писали так много, так плодотворно и великолепно, как в эту Долбинскую осень.

— Долбинская осень! Как хорошо ты сказала. Считаешь, действительно есть удачное?

— Всё! И Маша так считает, я говорила.

Дуняша не представляла себе, как будет жить дальше без постоянного общения со своей ненаглядной Машей, ненаглядной Сашей, с тётушкой, и потому бывала в Мишенском в эти месяцы почти каждую неделю, то по несколько часов, то целые дни — всё никак не могла наговориться, глядеться на них. Они испытывали то же самое. Екатерина Афанасьевна, конечно, прекрасно понимала, что при этих посещениях Жуковский через неё как-то сообщается с Машей, следила за племянницей так же неотступно, как за ним при его появлениях, и всё же ни разу не уследила, как Дуняша передавала ей вновь им написанное, и его речи о ней, а ему — её слова и её мнения о написанном.

Воейков в Мишенское только наезжал то из Москвы, то из Петербурга, то из Муратова — был весь в хлопотах по назначению в Дерпт. Про Жуковского он будто позабыл — ни звука хотя бы через Дуняшу, которую встречал в Мишенском, ни письмаца.

В середине декабря Дуняша принесла весть: выезд назначен на конец января, когда окончательно станет санный путь. Он послал Екатерине Афанасьевне записку с просьбой разрешить ему провожать их хотя бы до Москвы, а лучше бы до самого Дерпта. Она ответила через Дуняшу устно, что “категорически запрещает, дабы напоследок ещё раз не травмировать Машу”.

В начале января Жуковский ринулся в Москву: встретит там, и уж от кареты-то его никто не прогонит — сколько-то времени будет рядом.

Прямо с дороги — на Малую Дмитровку, к Карамзиным, давно не видел, сильно соскучился. Они, оказывается, тоже. Не отпустили, оставили



у себя. Николай Михайлович атаковал расспросами: где давно обещанный “Владимир”? Объяснял, оправдывался, как мог. Тот укоризненно качал головой. Потом поднялся, ушёл и принёс две большие папки с уже готовыми главами первых томов своей “Истории Государства Российского”, положил перед ним на стол.

— Читайте. Разрешаю делать нужные вам выписки.

Читал с упоением именно о тех легендарных временах.

И ждал, ждал.

...Приехали целым небольшим обозом. Маша безумно обрадовалась, что она оказалась в Москве и встретил их. Благодарила взглядом. И Саша очень обрадовалась. И Дуняша, которая провожала их. А Екатерина Афанасьевна польхнула гневом, но все-таки сдержалась, ничего не сказала. Ни на шаг не отпускала от себя Машу. Воейков же, увидев его у кареты, слегка даже оторопел, но следом так возликовал, так кинулся обнимать, что растрогал Жуковского. И только после этих объятий он разглядел, что Маша сильно осунулась, что в глазах её затаилась печаль, что вся она какая-то заторможенная. Стало безумно жалко её.

Пробыли в Москве всего полдня: покормили лошадей, отобедали, чуть отдохнули — и дальше. Он провожал до заставы. Махал рукой, пока не скрылись они в снежной дали. Словно растворились в ней. Как будто их и не было.

И дома снова увидел эту снежную поблескивающую даль, и как они растворились в ней. Исчезли. Может, правда исчезли? И она исчезла. А если насовсем? Навсегда... Стало страшно... Может, правда что-нибудь случилось? Может, правда уже нет её? Их?

Через три дня появилась неузнаваемая, шатающаяся Дуняша. Её появление перепугало вконец, потому что она собиралась провожать их до Дерпта и некоторое время побыть там — и вот... Оказалось, что в Клину почувствовала себя очень плохо, поднялся жар, видимо, простудилась в дороге до Москвы. Воейковым-Протасовым пришлось провести в Клину из-за неё почти два дня; сбили жар и отправили в хорошем кожаном тёплом возке назад. Жуковский не отпускал её, пока доктора не ликвидировали простуду, и она рассказывала ему всё, что было с Машей в последнее время, все их разговоры о нём, об их любви, и как она теперь при матери почти всё время молчит, ни в чём не перечит, потому что та при любом несогласии мгновенно свирепеет и отчитывает, наставляет так, что слушать страшно: говорит, что Маша её несчастье и позор, что сведёт её в могилу. Маша уже начала плохо кашлять, кашляла всю дорогу и молчала, молчала, всё время прикрывала глаза, будто задрёмывала. А как похудела-то, он сам видел.

В глазах Дуняши стояли слёзы. И он еле сдерживал их.

Отправив её, помчался в Питер к Тургеневу, узнавать, был ли у него разговор с митрополитом Филаретом. Да, был. И вполне положительный. Тургенев советовал просто напористей долбить “каменную матушку письмами-просьбами разрешить ему приехать в Дерпт для их лучшего там устройства, а уж там сообщить и мнение Преосвященного, к которому она не может не прислушаться”.

Разрешение приехать в Дерпт пришло от Екатерины Афанасьевны в середине марта.

## II

Солнце уже садилось, когда разглядел далеко впереди город вокруг высокого холма и на нём, с несколькими спаренными острыми шпилями кирх и с православными куполами, с крутыми черепичными крышами. Пошло неинтересное приземистое предместье. Карета прогромыхла по горбатому гранитному мосту через довольно широкую реку Эмбах, ещё закованную в лёд, попетляла по уже сумеречным улицам к названному адресу, и он с замирающим сердцем вошёл в их здешний двухэтажный деревянный дом, снова увидел Машу, которая похудела и потускнела ещё больше. Увидел, что и Саша выглядит неважно. И Екатерина Афанасьевна. Они ещё не устроились

тут окончательно: в некоторых комнатах стояли неразобранные сундуки, нераспакованные короба, баулы и узлы, от которых пахло сухой полынью — её клали в одежду от мышей. Один только Воейков выглядел молодцом; весь подтянувшись, был полон энергии, заботливости, с удовольствием показывал Жуковскому дом. За ужином рассказывал о Дерпте.

— Хотя большинство тут так называемые эсты, но город абсолютно немецкий, они тут главные: первые дома — графа Ливенштерна, графа Мантейфеля, графинь Менген и Вильбоа. Профессора университета — все немцы, кроме меня да одного шведа. Студенты тоже в основном немцы да лифляндцы, есть и эсты, но мало, как и русских. Преподавание — на немецком.

Жуковский слушал Воейкова, а сам поглядывал на Машу, спрашивал глазами, как она чувствует себя на самом деле? Словами-то она ответила при встрече, что хорошо. А как её душа? — и она сияющими взглядами отвечала: ты разве не видишь, как я счастлива, что ты снова рядом.

— Помимо немцев, тут полно и наших военных, — сказала после Воейкова Екатерина Афанасьевна.

— Представь себе, одних генералов шесть штук, во главе с прославленным Паскевичем, — подхватила Маша. — С некоторыми мы уже познакомились.

— Под Дерптом расквартированы наши победоносные войска, вернувшиеся из Европы, — пояснил Воейков.

Душа Жуковского наполнилась тем радостным теплом, тем невыразимым наслаждением, по которому он безумно тосковал последнее время, и которое испытывал всегда прежде, когда они были все вместе. Он-то уже ужасался, уже думал, что всё последнее разорвало их, а оказывается — нет: видел, чувствовал, что и они испытывают то же, что и он, глядя на него сейчас. Даже Афанасьевна. Говорили о разном. Он расспрашивал, сколько стоил дом, о прислуге, дорого ли здесь житьё, осваиваются ли психологически, интересно ли здешнее общество, чем увлечена Маша, чем Саша, не забыла ли Екатерина Афанасьевна на новом месте свое шитьё?

Засиделись за полночь.

— У меня завтра до двух лекции, — сказал напоследок Воейков. — После мог бы показать тебе город.

— Спасибо! Я поутру сам схожу, посмотрю.

— Как скажешь! — И придержал Жуковского за локоть, когда дамы расходились. Продолжил, когда уже ушли, причём понизил голос. — Ты прости, всё не было возможности объясниться по поводу Муратова. Ну, того, что я ляпнул тогда на дне рождения. Только потом сам-то сообразил, что ляпнул. Прости великодушно! Хотел как лучше. Натура проклятая. Тёще потом объяснял, что имел в виду. Я точу её, точу, как и обещал. Видишь, как она помягчала.

— Ладно. Прошло. Прощаю!

## 12

Через три дня казалось, что весь Дерпт хочет познакомиться или хотя бы повидать знаменитого Жуковского. Визит следовал за визитом.

Однако за эти дни они с Машей ни разу не оказались наедине. Общались только прилюдно, за столом, в гостиной. Мать по-прежнему ни на шаг не отпускала её от себя; поднималась, уходила сама — поднимала и уводила её.

...Загрохотал лёд вскрывшейся реки Эмбах. Утром вчетвером, без Воейкова, который спешил в университет, пошли смотреть ледоход. В Белёве, когда вскрывалась Ока, всякий раз ходили смотреть и слушать, как оглушительно ухают, точно пушки, лопнувшие толстенные, светящиеся под солнцем, зеленовато-серо-белые ледяные громадины, как, налезая друг на друга, они жутко скрежещут, трещат, со звоном колотятся, рассыпаются сверкающими брызгами, дождём. Каким неповторимым холодом веет тогда от этого страшноватого и вместе с тем такого могучего, такого завораживающего, восхитительного и бодрящего ледяного движения. Как пронзительно-радост-

но визжала всегда в эти часы в Белёве ребятня и замирали, ахали и охали взрослые. Там только совсем старые да немощные не появлялись в эти часы на крутояре над Окой. Здесь всё было так же. Народу тоже полно. Замирали, ахали, раскраснелись. Только берег был значительно ниже Белёвского. Возвращались в приподнятом настроении, и он попросил Екатерину Афанасьевну уединиться для разговора. Начал как мог доброжелательней с того, что, согласно её воле, они с Машей уже чуть ли не год ни разу не разговаривали наедине, виделись только при ней, и он всё это время, согласно её же совету, постоянно размышлял о своём отношении к Маше и её — к нему, а точнее говоря, не столько размышлял, сколько безумно терзался, всё больше, всё яснее понимая, что не может жить без неё и не сможет дальше, не представляет даже, возможно ли это вообще, ибо душа уже в постоянном огне, и если Екатерина Афанасьевна не войдет в их положение, ибо он убеждён, что Маша испытывает то же самое, он не представляет, чем все это кончится, какой трагедией.

Слушала внимательно. Заглядывала в глаза.

— Господи! Василий Андреевич, дорогой, всё давно сказано: не-воз-можно! Грех! Величайший грех! Как жить во грехе, без будущего Царства Божия? Разве я могу пойти на это? Не-воз-мож-но!

— А митрополит Филарет, высший предстоятель Русской Церкви, считает, что возможно.

— Филарет?! — она напряглась. — Не может быть!

— Александр Иванович Тургенев по моей просьбе говорил с ним, описал наши обстоятельства, и митрополит сказал, что грех не велик, родство малое, и если супруги будут жить в благости, то...

— Не верю!

— Кому, Екатерина Афанасьевна? Митрополиту? Тургеневу? Мне?

Она задумалась.

— Он может подтвердить это письменно?

— Его не просили об этом. Вы хотите, чтобы я попросил, — я попрошу.

Она растерялась, понимая его решимость. Напряженно думала. Замотала головой.

— Нет! Нет! Всё равно не соглашусь! — Вдруг умоляюще протянула к нему руки. — Василий Андреевич, дорогой, вы уже ославили нас в родных краях, и мы были вынуждены бежать в эту Чухонию. Теперь через митрополита хотите ославить на весь белый свет. Заявились сюда. Вы подумали, что ваш приезд сюда уже расстраивает репутацию Маши?

— Чем? — удивился Василий. — Вы же всем представляете меня как вашего брата. Разве тут кто-нибудь знает о наших обстоятельствах?

— Представьте себе, знают! Мне уже делали крайне неприятные, многозначительные намёки и вопросы в здешнем обществе, как только вы появились.

— Кто же мог “просветить” здешнее общество? И зачем?

— Думала — не пойму.

— Вы сами-то не могли где-то случайно обмолвиться?

— Помилуйте! Вы же знаете меня. Разве я могу делиться с кем-то своей мукой, кроме близких? И Маша неспособна. И Саша.

Ещё их обстоятельства знал здесь только Воейков, и Жуковский спросил Екатерину Афанасьевну, не мог ли он ненароком или под хмельком разболтать. Она замотала головой.

— Не мог.

— Почему?

— Потому, что он понимает ваши отношения с Машей точно так же, как я, и во всём поддерживает меня, и больше всего не хочет огласки происходящего ещё и здесь.

— Воейков?! — пробормотал ошарашенный Жуковский.

— Воейков! Воейков! Он же говорил вам об этом.

— Говорил? Мне? Да-а-а...

Он понял, что это мог сделать только Воейков. Но зачем?.. Надолго замолчал, соображая, как быть дальше. Екатерина Афанасьевна, видя, как он

все больше мрачнеет, заговорила сама. Тон был мягкий, уговаривающий.

— Василий Андреевич, дорогой, у меня к вам ещё огромная просьба: не ищите, пожалуйста, с Машей встреч наедине, не старайтесь поговорить без посторонних! Вы видите, как я оберегаю её. Оберегаю потому, что любая встреча с вами безумно травмирует её. Вы видите, как она извелась, как похудела, потому что — повторяю это в который раз! — вы глубоко, очень глубоко ошибаетесь в её чувствах к вам. Я знаю доподлинно от неё самой.

— Простите, не верю! — вспыхнул он.

— Уверяю вас!

— Давайте спросим у неё!

— Ну, да, потерзаем ещё раз! Не пожалеем, а потерзаем ещё.

— Пожалеть-то должны только вы.

— Я?!

— Да, только вы одна. Большинство знающих происходящее жалеют нас, прежде всего — её, и вы это знаете. Давным-давно жалеют и не понимают вас, не могут объяснить себе ваше упорство... Так мне просить митрополита Филарета писать к вам, прислать какую-то разрешительную бумагу?

— Нет! — осеклась, растерялась. — Не знаю, право... Мне надо время подумать...

— Сколько?

— Не знаю, я должна подумать...

Он впервые видел её такой нерешительной, впервые видел обнадёживающее движение её души. “Только бы не спугнуть! Только бы не спугнуть!” — твердил про себя.

Маша в тот же день за обедом спросили его тревожным взглядом: как? Посмотрел в ответ ободряюще, улыбнулся. Она посветлела, старательно занялась едой.

С Воейковым решил пока не говорить — посмотреть, разобраться.

...Екатерина Афанасьевна молчала и, казалось, ещё строже блюла Машу.

Поздними вечерами, когда расходились гости, или он возвращался из гостей в затихший дом, ему становилось невыносимо одиноко и тоскливо. И он ходил по комнате из угла в угол и думал, думал только о ней, безумно хотел видеть её, хотя иногда видел всего полчаса назад, и, главное, хотел говорить, слышать её тёплый голос, рассказывающий, что творится сейчас в её душе, чего он уже так давно не слышал, не может услышать. Ходил и ходил, не раз и за полночь, пока однажды не сел к столу, запалил ещё одну свечу и начал писать ей письмо, в котором размышлял, как бы отлично ему работалось в Дерите: “никакого рассеяния, тьма пособий... И теперь, в ту самую минуту, когда я только думал начать жить прекраснейшим образом, — новые неожиданные препоны...”

Надеялся утром незаметно передать это письмо Маше. Но даже и не попытался, ибо подумал, что при той слежке, которой она подвергается, письмо наверняка окажется в руках неистойвой матери, и какие это может иметь последствия, невозможно предугадать. Так что лучше он даст прочитать Маше писанное потом, когда у них, дай Бог, всё всё же устроится.

В следующую ночь написал следующее письмо: советовал ей искать утешение у давнего доброго товарища — смирной покорности Провидению.

В третью ночь в третьем письме рассказал о поступке Воейкова: “Человек, который имеет полную возможность осчастливить тебя и который не только этого не делает, но ещё делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между им и мною нет ничего общего и... — Следующие строки решительно зачеркнул, оставив лишь последние. — Дай мне способ сделать ему добро — я сделаю. Но называть чёрное белым...”

Если б он только знал, что в эти же ночи, всего через несколько стен и дверей, в своей, как она говорила, светёлке, Маша тоже сидела за столом и писала ему похожие письма, в которых изливала душу и которые тоже решила прочитать ему лишь тогда, когда у них, даст Бог, что-нибудь, наконец...

Скоро пришло письмо от Тургенева: он требовал немедленного приезда Жуковского в Петербург.

### 13

...Он знал, что императрице-матери Марии Фёдоровне к шестидесяти. Думал увидеть старушку, а увидел изящную моложавую обаятельную особу со следами былой красоты в лице и фигуре, с величественной осанкой, приятным тёплым голосом. Только глаза сильно щурились, и вокруг них всё морщинилось, однако взгляд был ясный, быстрый, словно вспыхивал в прищурах.

Принимала с Уваровым в уютной розовой гостиной с мебелью вишневого цвета и камином сиреневого мрамора, который топился, хотя было уже десятое мая — весна выдалась очень холодной. На императрице был лиловый муаровый роброн и кремовая парчовая пелерина. Сидела она в кресле возле овального столика. После представления внимательно оглядела его с головы до ног и сказала, что внешностью он удивительно соответствует своим стихам, что она именно такими и представляет себе настоящих поэтов и рада, наконец, познакомиться очно. Поблагодарила Уварова, что привёл его. Оба благодарно поклонились. Пригласила сесть в кресла напротив. Спросила, не знают ли они, когда кончатся холода? Уваров сказал, что знает. “Когда же?” — “Когда придёт тепло”. — “Спасибо! Успокоили!” Поинтересовалась самочувствием Жуковского после зимнего недомогания и как он съездил в Дерпт, слышала, что впервые, — понравился ли? Сказала, что с удовольствием читает его стихи, восторгалась “Светланой” и “Певцом во стане русских воинов”, хотела бы издать его за свой счёт. “Не возражаете?” — “Для меня это великая честь! Благодарю!” Жуковский привстал и снова поклонился. Восторгалась она и его прошлогодним посланием “Императору Александру Первому”, её сыну, в котором “так прекрасно освещены все исторические события последних лет и взятие Парижа, и очень бы хотела услышать, как он сам читает строки из этого великолепного поэтического памятника эпохе и государю”. Прочёл несколько строф, вдруг ощутив, что кое-что в них совсем не так хорошо, как ему ещё недавно казалось. Императрице же чтение очень понравилось, она одарила его благодарной улыбкой. Поблагодарила и словесно. По-французски.

Хотя стихи звучали русские. За всю встречу она произнесла лишь несколько отдельных русских фраз, и он спросил себя: по-настоящему ли она знает русский, способна ли почувствовать музыку стиха? Усомнился. Потом говорили о литературе и искусстве вообще. Спрашивала, кого он чтит из древних и нынешних великих европейцев; кого ещё собирается переводить? Кого почитает в Отечестве? Чем порадует в ближайшее время? Он отвечал, как всегда, легко, просто и откровенно, никого не хая, не оскорбляя из неприемлемых и нелюбимых, и проникновенно восторгаясь любимыми. Она тоже высказывала свои симпатии, антипатии и оценки, и все они были совершенно категоричны и коротки, как приговоры, причём некоторые были абсолютно несправедливы. И что бы она ни спрашивала, что бы ни говорила, что бы ни слушала, её моложавое красивое приятное лицо почти не менялось, будто это была маска, и даже по посверкивающим глазам он не мог понять, что она чувствует и думает на самом деле.

В общем, какой она человек, он так и не ощутил. Ощутил только императрицу, которая перед расставанием немного помолчала и объявила, что желала бы видеть его ещё, ну, скажем, через неделю — он бы смог? “Разумеется! Для меня это великая честь, Ваше Величество!”

В карете Уваров поинтересовался:

— Ты доволен?

— Конечно! — потом тяжело вздохнул.

Тот засмеялся.

А через четыре дня принёс слух, что императрица-мать сказала своим фрейлинам, что Жуковский и внешне совершеннейший поэт, что очень естественен, скромен, приятен, ей понравился.

— При дворе днём с огнём не сыщешь естественных и скромных — гордись!

— Ладно.

Написал об этом представлении Дуне и далее — о заботах друзей, о его достатках, о том, что никакого богатства он не ищет, “да и не считаю его нужным, а почести — сущая низость, когда стоишь на той сцене, на которой раздаётся хвала, гул шумный и невнятный; быть полезным — эта химера кажется только в Белёве чем-то существенным, здесь её иметь невозможно... Теперь стоит только поглядеть на тех людей, которые посвятили себя общей полезной деятельности, чтобы сказать себе, как эта цель безумна. Будешь биться, как рыба об лёд, убьёшь в себе прежде смерти то, что составляет твою жизнь, и останешься до гроба скелетом”. И далее: что “в большом свете поэт, заморская обезьяна, чревовещатель и тому подобные редкости стоят на одной доске — для каждой из них одинаковое, равно продолжительное и равно непостоянное внимание”. А в конце письма просил Дуняшу, чтобы в Долбине “на всякий случай была отделана для меня комната и в ней шкафы для моих книг, простые, но крепкие и недосыгаемые для мышей, и в эти шкафы да перенесутся и поставятся книги мои так, чтобы я мог их обрести в порядке при своём приезде... Что не говори судьба, а ещё весело подумать, что у меня есть прекрасный уголок на моей родине”.

Маше не писал, боялся, что письмо попадёт в чужие руки. Но она постоянно переписывалась с Дуней, и та сообщала все дерптские новости ему.

Императрица-мать предложила ему быть её чтенцом: читать ей вслух раз или два в неделю по обоюдному согласию, что сочтут интересным, важным или увлекательным. Согласился только на время, так как в июле собирался снова в Дерпт. Саша должна была родить; договорились, что он будет крёстным. Познакомился при дворе с членами царской фамилии, со многими высшими сановниками и придворными.

## 14

Приехавши в Дерпт, Жуковский в первые мгновения онемел, увидав, что сделала с Машей болезнь, а потом, слушая рассказы Екатерины Афанасьевны и Саши о том, как всё происходило и какой молодец доктор Мойер, еле сдерживал слёзы.

Мойера в тот же день сердечно благодарил, пошёл провожать и попросил по дороге ничего не скрывать, сказать, что всё-таки с ней было и есть? И насколько это опасно? Тот остановился, задумчиво нахмурился. “Крайне опасно! Такая душа. Новая атмосфера, люди, обстоятельства — слишком много нового, непривычного. Если бы не родился младенец, не приехали бы вы — я не берусь сказать, что бы было... Вы понимаете?” И многозначительно, долго смотрел через свои стёклышки Жуковскому в глаза. Жуковский понял.

Маша была ещё слаба, однако в гостиную в первый вечер на беседу с Жуковским пришла, полулежала в подушках на диване. И никто ещё и рта не успел открыть, как Екатерина Афанасьевна весьма торжественно, даже ликующе заявила, что хочет от имени родни и всех присутствующих поздравить их дорогого, любимого Василия Андреевича с высочайшей должностью, которой он удостоен недавно при дворе, при самой государыне императрице-матери Марии Федоровне.

Жуковский вытаращил глаза: откуда узнали?

Екатерина Афанасьевна победно сияла, Воейковы тоже. Маша глядела тревожно. Догадался: известила Дуняша.

— Поздравлять не с чем. Напрасно вы это. Никакая это не должность, а обязанность. Неинтересная, нежеланная.

— Не скромничай! Не скромничай! — вскричал Воейков. — Обязанность при самой матушке императрице, которую Россия почитает уже сорок лет.

— Честь! Великая честь! — подхватила Екатерина Афанасьевна и гости.

— Расскажите о ней! О Марии Фёдоровне. Какая она? Как вы себя с ней чувствуете? Государя видели? Разговаривали?

Стал рассказывать. Первый раз рассказывал о своих впечатлениях от двора. Увлёкся. В одну из пауз раздался напряжённый Машин голос:

— Значит, ты не сможешь теперь приезжать?

— Почему?

— Не пустят.

— Моя судьба не в руках императрицы.

...Он решил дожидаться её полного выздоровления. И никак не докучать, не пытаться повидаться наедине, чтобы излишне не разволновать. Виделись раз, два в день за обедом, ужином или в гостиной при других, при гостях — и ладно пока. Маша бодрела день ото дня. Все, конечно, радовались этому, включая Мойера. Только теперь уже не один он понимал, какое лекарство тут действует столь благотворно.

И вот однажды, встретив её с матерью в коридоре, он распахнул ближайшую дверь столовой, попросил зайти туда и сказал, что снова, уже при самой Маше, просит у Екатерины Афанасьевны руки её дочери.

Екатерина Афанасьевна запольхала гневом:

— Что вы себе позволяете! Как это можно, при ней...

— Простите! Простите! Но я три месяца жду ответа.

Маша бледнела на глазах.

— Маша! Оставь нас! Выйди, пожалуйста! — грозно приказала Афанасьевна.

— Нет! Прошу вас! Прошу тебя, не уходи! Давайте хоть раз при ней. Давайте начистоту, без хитростей!

— Начистоту! Без хитростей! — Афанасьевна задыхалась.

Маша, не двигаясь, испуганно глядела то на неё, то на него.

— Скажите, наконец: я должен просить Филарета или не должен?

Екатерина Афанасьевна не отвечала, справлялась с дыханием, горделиво распрямлялась, каменела лицом.

— О чём вы, скажите?! — взмолилась вдруг Маша.

— Я просил Тургенева переговорить о нас с митрополитом Филаретом, и он сказал, что наш с тобой брак возможен. Твоя матушка спросила, может ли он подтвердить это письменно. Я готов его просить об этом, но она не говорит, надо ли? Велела подождать ответа. Так просить или не просить?

— Нет! — выдохнула Екатерина Афанасьевна.

— Почему?

— Потому что он не прав, и я всё равно никогда не соглашусь на ваш брак! Никогда! Поймите вы это наконец! Поймите! — яростно выговорила она.

Маша глядела на неё с ужасом.

— Екатерина Афанасьевна, послушайте, посмотрите на Машу, что будет с...

— Всё! Всё! Всё! — почти закричала она. — Сил больше нет! Это последнее моё слово. Больше не пытайтесь даже заговорить со мной об этом! Всё! Несколько мгновений все молчали, не двигались.

Затем он приблизился к Маше, взял её безвольно повисшую, похолодевшую руку, поцеловал и тихо сказал:

— Прости! Крепись! Я сейчас уеду.

Душу сжимало отчаяние.

## 15

Он жил у братьев Тургеневых, в верхнем этаже дома Голицына на Фонтанке, и в первые дни поздними вечерами и бессонными ночами подолгу простаивал у окна, из которого был виден Михайловский замок, где окончил свои дни несчастный император Павел. Громаднейший, массивнейший чёрный замкнутый квадрат, отражавшийся в чуть поблескивающей Фонтанке, окутанный пеленою очередного дождя, похожий не только на рыцарский замок-крепость, но и на тюрьму, он олицетворял для него сейчас весь Петербург. И он — в нём.

Попросил Тургеневых, чтобы они пока никому не сообщали, что он приехал; ему надобно побыть одному, кое-что завершить. В историю свою их не

посвящал. Но только и делал, что маялся, мотался в одиночестве из покоя в покой, торчал у окна, оцепенело сидел в креслах, лежал на диванах и думал, думал непрерывно о ней, о себе, искал и искал выхода и, не находя, всё больше и больше отчаивался, не смыкал глаз одну ночь, вторую, на третий день голова сделалась чутунной, мысли ворочались с трудом, а сердце сжималось от жуткого безысходного ужаса, и он поймал себя на том, что уже не десятки, а сотни раз задаёт себе одни и те же вопросы, и сотни раз одно и то же отвечает на них, то есть, по-видимому, сходит с ума. С ума так с ума, что ж такого? Какой-никакой, дикий, страшный, прискорбный, но всё же выход... Для него. Ему. А ей? Она же тоже сойдет с ума. Не может не сойти. Из-за него. Он, он, не способный жить без неё, так её любящий, будет её несчастьем, жутким несчастьем, наказанием, убийцей. Леденящий ужас сжал, сковал его всего так, что он не мог шелохнуться, не мог даже глубоко вздохнуть. Сколько так продолжалось, не заметил. Потом начался мелкий озноб, испуг, но он с невероятным усилием всё-таки шелохнулся, приподнялся с кресла, испуг и озноб усилились, но он вышел в прихожую, взял накидку и шляпу, не надевая их, спустился вниз и пошёл по набережной Фонтанки к Неве, сначала ничего не замечая, ни на кого и ни на что не глядя, и озноб постепенно затих, испуг исчез, он стал всё видеть, озираться — поуспокоился.

Дождя, слава Богу, не было, ненадолго даже выглядывало солнце. Катились, поскрипывая, кареты, коляски, погромыхивали телеги, покрикивали кучера и возницы. Прохожих было немного. Подумал, что на Литейном их куда больше, там лавки, присутственные места, литейный двор, дорога к пристани — и двинулся туда, и медленно шествовал там, поглядывая на встречных и обгоняющих мужчин и дам, мужиков и баб, подростков и детей, на разные — хмурые и веселые, и такие вдруг прекрасные, или уродливые, или забавные — лица, вслушивался в такие разные вокруг звуки — голоса и разговоры, — ловил разные — волнующие, вкусные и противные — запахи, и чувствовал себя всё лучше и лучше, и подумал, понял, что в его состоянии никак нельзя оставаться одному, действительно можно рехнуться, нужно всё время быть с людьми, на людях.

В тот же вечер нанёс первый, обещанный ещё до отъезда визит. А следующим ранним утром встретился со своим издателем, с коим занимался до обеда, и привёз домой целую кипу гранок для корректур. Отправил императрице-матери письмо с извещением, что прибыл и весь к её услугам. А вечером сделал ещё визит. Буквально ринулся во встречи, свидания, разговоры, переговоры и всяческие хлопоты и заботы, чтобы только не быть одному. Случалось, в первые дни ни минуты свободной не оставлял, даже и на рассветах недели три не подходил к столу, не мог писать, потом, правда, потихоньку начал. И никто, ни один человек в Петербурге не знал, что он скрывает под такой кипучей общительностью и вседашней своей ровностью, обаянием и добродушием. Да он и сам-то не подозревал в себе таких способностей — не быть никому в тягость, не обременять своим горем.

## 16

Странно, но ни разу не видел Машу во сне. Однажды даже где-то ходил среди деревьев и каких-то домов, искал её, выглядывал — не нашёл, хотел спросить у кого-нибудь, не видели ли её, но никого не встретил. Проснувшись, долго испытывал чувство этого бесплодного поиска, гнал его, гнал, еле прогнал...

“Чёрт знает, что делается с моею душою, — писал в ноябре Вяземскому, — она расщепилась, как ветошка; всё как будто из неё выдохлось...”

...Письмо с дорогим почерком на конверте пришло в середине ноября. Безумно обрадовался, но, вскрывая конверт, сильно волновался — что в нём?

“Мой милый, бесценный друг! — писала Маша. — Я решаюсь писать к тебе, просить у тебя совета, как у самого лучшего друга после маменьки... Я хочу выйти замуж за Мойера. Я имела случай видеть его благородство



и возвышенность его чувств и надеюсь, что найду с ним совершенное успокоение. Я не закрываю глаза на то, чем я жертвую”. Дальше объясняла, что это для того, чтобы Жуковский мог, как прежде, жить вместе с ними, то есть и вместе с её маменькой, “а я получу право иметь и показывать тебе самую святую нежную дружбу, и мы будем такими друзьями, какими теперь всё быть мешает. Милый Жуковский! Я воображаю, что мы все можем быть счастливы!.. Что касается до меня, то я потеряю свободу только по имени; но я приобрету право пользоваться дружбой твоею и сказывать тебе её”.

Показалось, что от жаркого ужаса зашевелились волосы на голове, внутри всё больно сжалось.

Жертвует собой только для того, чтобы я был по-прежнему рядом, чтобы по-прежнему видеть меня, чтобы по-прежнему любить. Но я-то?! Могу ли я-то быть рядом с ней, уже с чьей-то женой, и с её каменной маменькой?! Куда же мне-то деть свои чувства? Задавить? Позабыть? Избавиться? Как?! Как?.. Не смогу! Не могу! Она же знает об этом. Почему не подумала? Не-е-ет, она наверняка подумала! Как наверняка думала и о том, как невыносим, ужасен и несчастлив может быть для неё такой брак, да и для него, для этого Мойера, ведь он, кажется, догадывался, зачем я бывал в Дерпте. Может быть, даже знает. Как же это при нём мы будем по-прежнему свято и нежно дружить? Не могла она не думать обо всём этом, а пишет такое. Значит, заставили! Мать заставила! Придумала выход!

Пододвинул лист бумаги, стал писать:

“...Милый друг, не ты сама на это решилась. Тебя решили с одной стороны требования и упреки, с другой — грубости и притеснения! Не давши времени твоей душе придти в себя, от тебя требуют последнего пожертвования на целую жизнь, называя это пожертвование твоим же счастьем и даже не принимая его за пожертвование!.. Одним словом, ты бросаешься в руки Мойера потому, что тебе другого нечего делать! Тебя тащат туда насильно!”

Дальше писать не мог. Потому что увидел её бледное, расстроенное лицо, распахнутые, полные муки глаза, услышал железный голос маменьки. Стало безумно жалко Машу. Из глаз потекли слёзы. Себя тоже стало жалко. Душа стонала. Мысли ворочались жуткие, безысходные...

Вернулся к письму только поздним вечером:

“Мойер прекрасный человек, сколько я его знаю. Но тебе надобно с ним счастье. Прежде узнай наверное, что его получишь, а там уже располагай собою. Неужели нельзя тебе иметь году отерочки? Неужели я такая презренная тварь, что уже мне никакого утешения сделать не можно, что уже меня можно раздавить, не думая даже, что я могу почувствовать боль? Сердце разрывается, когда подумаю об этой жестокости, об этом холодном самовластии, которое величают материнскою любовью. Но скажи, Маша, разве ты не обязана подумать и обо мне? Разве тебе не нужно избавить меня от такой мысли, которая отравит всю мою жизнь, что тебя принудили выйти замуж, опасаясь меня! Я убеждён, ты идёшь за Мойера только по произволу матери. Она не упустила ни одного случая, чтобы не разорвать мне сердце!.. Что ей до меня, когда она не падит своих детей!.. Она сделала из меня какое-то чудовище. Пожертвовав собою, не думай из меня сделать ей друга. Скорее соглашусь двадцать раз себе разбить голову, нежели искать места в этой семье... За что хочет убить тебя?! Я не могу согласиться на замужество твоё, теперь не могу! И есть ли...”

Не дописал. Не мог дописать потому, что никогда в жизни ни к кому не испытывал ещё такой лютотой злобы, какую испытывал сейчас к Екатерине Афанасьевне. Даже прикрыл недописанное чистым листом, чтобы не видеть этой злобы.

Буквально на следующее утро пришло письмо от Дуняши, ответ на его последнее к ней, в котором он сообщал, что, к великому сожалению, по всем обстоятельствам и своему состоянию, вынужден теперь жить в Петербурге и даже слышать, вместо того, чтобы...

“Милый брат! Милый друг! — писала Дуняша своим размашистым подчерком. — Бесценное письмо ваше оживило меня, хотя в нём нет ничего оживительного, — те же желания не того, что у нас есть, та же непривья-

занность к настоящему, та же пустота, скука, которые до вашей милой души не должны бы сметь дотронуться, — но этот почерк, этот голос дружбы, который слышен и в скуке, и в пустоте, и в шуме, — и возможность счастья невольно воскресла! Авось! Бросьте всё, милый брат! Приезжайте сюда, ваше место здесь свято!.. Ваши рощи, ваша милая Поэзия, ваша прелестная свобода, тишина, вдохновение и верные сердца ваших друзей — здесь всё цело, всё живет, всё вечно! Что это за состояние, для которого вам надобно служить? Что это значит? Чем жить? Это и глупо и обидно! Забыли вы, что я хотела всё своё продать, бросить, чтобы с вами в 14-м году ехать в Швейцарию? Разве вы не знаете, что у вас, слава Богу, есть чем жить... что и тогда бы было, когда б я сама для жизни своими руками работала, и тогда бы вы могли жить со всеми прихотями, каких бы вам угодно было! А когда бы вы здесь были с нами, я была бы вашим богатством богата; милый друг, неужели мне сказывать вам, что такое для меня любить вас?..”

Забыл! Да разве ж такое забывается: что сделала, чем была для него в четырнадцатом году эта святая, пылкая душа! И что она была всегда для Маши, и особенно теперь — единственной отдушиной! И для него тоже единственной. И вот опять готова пожертвовать собой и чем угодно, только бы помочь. Как истинный Ангел во плоти!

Сознавал, что должен сказать ей самые горячие и глубокие слова признательности, но не было в нём сейчас таких слов, ничего в нём не было, кроме Маши, кроме невероятной, неподъёмной, невыносимой жалости к ней и бесконечных раздумий, как ей помочь? Чем? Что предпринять? Целесообразней всего было бы, конечно, поехать туда, но он же не сможет не только разговаривать, но даже и смотреть на “маменьку”... И тут уж неважно, каков на самом деле этот Мойер. Подходит или не подходит? Выбрала-то она...

Всё пошло по новому кругу. Опять молил и молил:

— Господи! Пожалей Машу! Молю тебя, пожалей!

Начатое к ней письмо пролежало на столе два дня, потом, так и не дописав его и не перечитывая, запечатал в конверт и отправил.

А Дуняше написал: “Моё положение теперь хуже прежнего, здешняя жизнь тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь. Ваше одно и то же кажется мне прекрасным положением; работать без всякого рассеяния в кругу своих, отделяясь от прошедшего и будущего, — вот чего мне хочется. Поэзия отворотилась. Не знаю, когда она опять на меня взглянет. Думаю, что она бродит теперь или около Васьковой горы, или у Гремячего, или в какой-нибудь Долбинской роще, несмотря на снег и холод! Когда-то я начну её там отыскивать! А здесь она откликается редко, да и то осиплым голосом. О Дерпте не хочу писать ни слова...”

## 17

Вдруг вошёл Воейков. Радостно улыбаясь, протянул к нему обе руки.

Жуковский застыл от удивления.

— Какими ветрами?!

Пришлось обняться.

— Дела журнальные, да и по тебе соскучился.

Ну и чудеса! В Дерпте бегал от него, как чёрт от ладана, ни разу не потлковали, и нате — соскучился!

А месяца два назад их сотоварищ по благородному пансиону, директор медицинского департамента Дмитрий Александрович Кавелин тоже был в Дерпте и сообщил ему, что Воейков в последнее время почти всякий день пьян, безобразно ведёт себя в семье и в университете, весь город судачит о его поведении. Кавелин попытался поговорить с ним об этом и помянул Жуковского, какую, мол, тень он бросает и на него, а Воейков взорвался, кричал, что Жуковский и все они уже стоят у него поперёк горла, и он не желает больше, чтобы его учили, и прочее, прочее в том же духе. И вот, пожалуйста — соскучился!

Воейков осунулся, потемнел лицом, глубокие маслянистые глаза горели.

— Ты здоров?

— Да.

— Как твои: Саша, дочь, тёща? Как в университете?

Сказал, что все здоровы, в университете по-прежнему, новость одна — Маша.

— Что с ней?

— Собралась замуж.

— Я знаю. Как она?

— Как? А-а-а, здорова, здорова... Если, конечно, можно назвать это здоровьем...

Предложил ему сесть, сел напротив, внимательно вглядываясь: что-то в нём появилось новое, но он не улавливал, что именно.

— Ты знаешь, что Мойер уже сватался к ней весной?

Кивнул. Узнал об этом недавно из письма Дуняши.

— Тогда она отказала. Матушка одобрила её. Я успокоился... Но от дома ему не отказали, ты видел. Лечил их. Почти каждый вечер играл, давал ей уроки. Зачем? Каждый день ходил, как к себе домой.

— И принимал роды у Саши. Врач-то он хороший?

Передёрнул плечами.

— Разве их разберёшь? И вот снова посватался, и ему сказано, чтобы ждал. Она сказала. И мать. Но это же измена тебе. Да, да, измена, не кри-вись! Я не могу понять, как они решились на это. Он кто? По-но-ма-рё-нок! Пономарёнок. Сын пастора. Не дворянин. Старинная фамилия Протасо-вых — и вдруг такое родство. Позор! Стыд! Я пытался говорить с Машей, просил объяснить, как можно так обойтись с тобою, но ничего вразумитель-ного она не сказала. Я даже взорвался, накричал, виноват, не сдержался, сердце ведь разрывается от боли за тебя и за неё. Не могу ни понять, ни при-нять! Понимаешь меня? Больно...

Воейков буквально клокотал от негодования; кулаки крепко сжаты, ли-цо стало ещё темней, чувствовалось, что он еле сдерживается, чтобы не раз-бушеваться, не кричать. Жуковский прежде никогда не видел его в таком диком напряжении, таким переживающим за него и за Машу.

— Я запретил его принимать. Теперь они не видятся.

— Как запретил?!

— Ради неё! Ради тебя! Чтобы...

— Позволь! По какому праву?! Это же произвол! Издевательство!

Воейков вздрогнул, мгновенно съёжился, стал нервно потирать руки. Помолчал.

— Да, чувствовал, что перегнул. Чувствовал! Но уж больно было обид-но. Потом-то понял, что переборщил. Проклятая натура: не могу удержаться, когда больно за других. Обжигает! Жжёт! Знаешь, как стыдно стало. Так стыдно! Прости! Прости великодушно! Ты можешь, я знаю! Теперь всё! Взял себя в узду. Взнуздal. Всё! С Машей схлестнулся, сорвался — уже просил прощения. Простила. Мочи нет, как стыдно! Теперь всё, злость на себя та-кая, что не сорвусь никогда. Чувствую...

Снова крепко-крепко сжал кулаки, глаза наполнились тьмой.

Жуковский понял: он испугался сообщений Кавелина и приехал оправ-даться, загладить свои неблагоприятности. Ну, что ж — уже поступок.

Воейков каялся ещё, и поклялся, что ничего подобного с ним больше не случится. Однако Мойера продолжал называть пономарёнком и всячески уничижать. И в обществе-то тот чаще всего молчит, а когда человек постоян-но молчит, значит, ему нечего сказать, значит, он пустой. И игра его на фортепьяно только потому считается виртуозной, что в городе нет других приличных пианистов. И сколько же у него остаётся времени на больных в собственной лечебнице, если на нём же лечебница университетская и лек-ции, и практика со студентами, и частные лечения, и бесконечные музици-рования, и...

Заметив же, что при последнем излиянии Жуковский поморщился, тут же перешёл на другое и больше не трогал Мойера. Рассуждал, что коли уж так сложилось, что им невозможно быть вместе, и Машу надо непременно выдать замуж, то можно же составить прекрасные партии — в городе столь-

ко блестящих состоятельных военных, генералы, есть и благороднейшие профессора...

— Остановить её можешь только ты.

Жуковский промолчал.

В Петербурге Воейков пробыл четыре дня. С утра и днями занимался своими делами, а два вечера они сидели и говорили о разном почти как когда-то. Воейков считал, что к теще все-таки можно подобрать какой-то ключ, но какой именно, не представлял, только морщил лоб, разводил руками да тяжело вздыхал, да ругал себя, что ни до чего столько времени не может додуматься. Больше же всего говорили, конечно, о литературе, о литературных новостях, что у кого появилось нового.

## 18

Пришло новое письмо от Маши, в котором она просила его приехать в Дерпт.

“Что же будет пользы в моём приезде? — написал он. — Я не поеду за тем, чтобы непременно сказать “да”; но затем, чтобы узнать твои мысли, узнать, что делается в твоём сердце! Я чувствую, что мой приезд так же нужен для меня, как и для тебя!.. Если тебе нужно, чтобы я приехал, то надо, чтобы маменька решилась поступать со мною как сестра и чтобы ты решилась сказать мне всё”.

С нетерпением ждал Плещеева, который поехал навестить Протасовых-Воейковых, посмотреть Дерпт, побывать в Ревеле и Риге. Тот вернулся в середине января сильно расстроенный и возмущённый: оказывается, Воейков после Петербурга почти всякий вечер пьян, устраивает безобразные скандалы, кричит, что Жуковский потрясен поведением Маши, и целиком одобрил все его действия против неё и Мойера.

Плещеев даже оказался нечаянным свидетелем одного из таких скандалов. Они гуляли с Екатериной Афанасьевной и Машей, он зашёл в кондитерскую кушать пирожных, они поджидали его на воле, там был народ, он чуть подзадержался, а когда вышел — подле Протасовых подвыпивший Воейков громко, грубо требует, чтобы Екатерина Афанасьевна дала ему денег. Та ответила, что у неё с собой ничего нет, и просила вести себя потише, во-круг все уже оглядываются, останавливаются. А он ещё громче: “Не верю! У вас есть! Вы обязаны дать!”

— Я подскочил. Он никак не ожидал увидеть меня, вытаращил глаза, замолк. Я пристыдил его и спросил, как он себя чувствует, вид, мол, у него совершенно больной, впечатление, что он сходит с ума, и я по приезде в Петербург немедленно расскажу об этом Жуковскому, Тургеневу и Кавелину, чтобы они срочно пожалели, позаботились о тебе. Он мигом сцепил руки, умоляюще прижал их к груди и чуть ли не со слезами на глазах стал просить прощения у меня, у Екатерины Афанасьевны, у Маши за свою гадость и уговаривал меня плюнуть за неё ему в лицо. Именно уговаривал, как в припадке. А люди мимо идут, смотрят, слушают. Еле убрались. А тем же вечером, в моё отсутствие, снова измывался над Екатериной Афанасьевной. Представляешь! Обе болеют, стали, как тени, и страшно боятся, что буйствуем Воейкова не будет конца.

Жуковский был раздавлен.

Три недели назад он всё простил Воейкову, давнее и недавнее. Даже написал Дуняше: “Он поехал отсюда, давши святое обещание переменить свой образ обхождения и строить своею жизнью друзей своих! Чтобы он мог это исполнить, надо непременно всё старое забыть и иметь к нему доверенность. Эта помощь необходима Воейкову!”

Помощь Воейкову! Господи! Какой же я дурак!

А Плещеев продолжал:

— От отчаяния и для поддержки Маша попросила приехать к ним в Дерпт Авдотью Петровну. И та сразу же выехала. Но при переезде через Оку лёд под ними проломился, сани, люди и лошади оказались в ледяной воде, барахтались в ней, но, благодаренье Богу, все выбрались, никто не пото-

нул, и лошади не погибли, но Авдотья Петровна жестоко простудилась, очень болела, кажется, лежит и сейчас.

— Когда это было?! Мне ничего не сообщили.

— Накануне моего отъезда из Дерпта пришла её коротенькая записка.

— А мне ничего! Боже мой!

Через день Жуковский помчался в Дерпт.

Сердце сжалось, когда увидел он, как обе они действительно сдали за минувшие пять месяцев: похудели, под глазами — тёмные круги, а в глазах — слёзы. Слёзы боли и радости, что видят его. У Маши-то понятно. Но и у Екатерины-то Афанасьевны они явились впервые в жизни — так сильно она обрадовалась ему. Расцеловала. И с Машей расцеловались. И с Сашей. Воейков тоже вышел в прихожую встречать, но не приблизился, замер, съёжившись, как побитая собака, позади дам. Хорошо, что они не оглядывались и не видели его в этой жалкой позе. Жуковский кивнул ему, сказал: “Здравствуй”, — но руки протянуть не смог.

Через час он уже разговаривал с Екатериной Афанасьевной наедине, и это была совсем не та величаявая, гордая, властная женщина, которую он знал всю жизнь. Заметно постаревшая, сникшая, растерянная, она всё время вертела в руках белый кружевной платочек, несколько раз поспешно подносила его к мокрым глазам, боясь вконец разрыдаться, и с горечью, откровенно отвечала на всё, о чём он её спрашивал. Да, Воейков целиком на её совести, ошиблась, поторопилась, никого не послушала, хотя предупреждали о его дурном характере, понадеялась, что ангел-Саша выправит, облагородит его, однако теперь только и делают с Машей, что скрывают от неё, сколько могут, его безобразия. Подробно о них даже не захотела говорить, потому что тяжело вспоминать, настолько они были ужасные, тяжкие. А против Мойера его борьба такая же, какую он до того вёл против него. “Да, да, Василий Андреевич, против вас! Поосторожней, конечно, но пел мне и пел, чтоб стояла на своём, не допускала поругания христианства”. А уж против Мойера идет напраую, потому что она ещё одну великую глупость совершила: передала Воейкову право распоряжаться всеми её владениями и состоянием. Он и распоряжается, даже не ставя её теперь ни о чём в известность. Когда же Маша выйдет замуж, половина Муратова и всего остального поменьше отойдет как приданое ей и её мужу, то есть Мойеру. Так что лучше всего для Воейкова, чтобы Маша вообще не выходила замуж, и уж совсем было бы счастье, если бы её совсем не стало.

— Полагаете, этот мотив основной, главный?

— Убедена.

Помолчали.

Она смотрела на него с надеждой. Прежде никогда так не смотрела.

Сделалось безумно жалко её.

— А почему Мойер?

— Потому что он замечательный. Правда! Правда! Так весь город считает. Недостаток только один — он не дворянин. Но благороден, вы сами видели. А познакомитесь поближе, поймёте, поймёте, почему он. Генерал Красовский, толстый-то, тоже сватался. Но разве он сделал бы счастье Маши?.. А Мойер сделает — я вижу, надеюсь...

Глянула на задумавшегося Жуковского, замолчала, опустила голову.

— Екатерина Афанасьевна, я хотел бы и с Машей поговорить наедине. Позвольте?

Вскинулась, несколько мгновений напряжённо-вопрошающе глядела прямо в глаза.

— Надеюсь, вы не станете воздействовать на неё, воскрешать былые чувства?

— Обещаю. Уж не за тем ведь приехал.

— Да, да. Пожалуйста!

Январский день короток. На воле быстро темнело, хотя было всего четыре часа пополудни. В гостиной зажгли свечи. Маша вошла, уже переодевшись в очень шедшее ей и очень нравившееся ему старое сиреневое платье с округлым стоячим воротником. Грустно улыбалась. В жёлтом зыбком све-

те свечей бледность лица была не видна, только худоба, а завитушки русых волос, обрамлявших лицо, прозрачно золотились, и она показалась ему ещё прелестней, чем прежде. Встали друг против друга и молча разглядывали, любовались друг другом, глядели глаза в глаза, улыбались всё радостнее. Всё было, как раньше.

— Ты сегодня ещё красивей, ещё прелестней! — вымолвил он, наконец, зачарованно.

— Потому что вижу тебя. — Усмехнулась. — Увидел бы меня неделю назад или месяц. Я почти не сплю.

И рассказала, что Воейков методически поздними вечерами устраивает ей совершенно изуверские допросы, разносы, скандалы. Почти всегда пьяный. Орёт, обзывает любовницей Жуковского, а потом одновременно и Мойера. И ещё хуже обзывает. И его поносит непрерывно: после приезда говорил, что Жуковский её уже ненавидит за всё, что перенёс из-за неё. Знает, что она не уснёт после его криков, и издевается. Она уже не раз просила, молила его дать возможность хотя бы выспаться, передохнуть, даже пообещала, что если он оставит её в покое, она откажет Мойеру. Настолько была взмотана и истерзана. Не только не оставил, ещё хуже издевался. Она уж думала, как и куда бы ей убежать из дома и Дерпта, может, к Дуняше. С Мойером последние месяцы тоже не видятся и переписываются тайно, как прежде с ним, кухарка молодец, передаёт. Запреты и слежка непрерывные. В припадке отчаяния он даже кричал, что убьёт Мойера, и Жуковского убьёт, а потом зарежет себя, чтобы все поняли, на что способен Воейков. А в другой раз, когда у матушки шла горлом кровь и она слегла от его бесчинств, он заявил, что она притворяется, и продолжал издеваться. Когда же у неё случилось то же самое, он смеялся и говорил, что это от бешеной страсти, что прежде шла так же кровь от неудовлетворенной страсти к Жуковскому, а теперь — к Мойеру, а через год будет идти из-за какого-нибудь генерала.

Жуковский был раздавлен окончательно. Дышалось с трудом. Через довольно долгую паузу он почти прошипел:

— Надо усмирить его!

— Прошу тебя! — Помолчала. — Но главное-то — Мойер... Знаешь, безысходность была такая после августа, когда распоясался Воейков, что я готова была хоть за чёрта пойти, только бы перестать видеть его и терпеть его издевательства и над маменькой, и над Сашей. Тут опять Мойер. Схватила, как за якорь, за подвернувшееся спасение. Сначала только от полной безысходности. А потом стала думать, думать, какой он, и поняла, что это может быть настоящее спасение не для одной меня, для нас обоих. Хотя, конечно, он не ты, ему до тебя как до неба, но истинно по-человечески главное, высокое и чистое в нём тоже есть — поверь мне! Я сообщила ему твоё мнение о годе отсрочки, он совершенно с тобой согласен. Ты поговори с ним сам.

— Завтра же.

Жуковский совсем забыл, что привёз ей и всему семейству в подарок несколько первых томов своих сочинений. Пошёл, принёс, подарил.

Господи, как она радовалась, восхищалась, даже порозовела. Поздравила. Несколько раз разглядывала книгу со всех сторон, ласково гладила, удивлялась её толщине и тяжести, листала, читала оглавление, погладила и гравюру со сфинксом, снова листала...

Ночью, конечно, не спал. Думал о том, как в минувшие месяцы искал забвения, потешался, развлекал и развлекался в красотах Павловска и Царского, а она тут каждодневно терпела муку за мукой. Из-за него! За него! За то, что любила и любит, он это видел, ощутил сегодня снова сполна. Может быть, и не совсем по-прежнему, но любит, любит. И готова ради любви на новый подвиг. А он-то на что готов ради неё? Смирился, что общего счастья не будет, и всё? Но личное-то счастье у неё может быть? Должно быть! Может, выйдет за Мойера, — оно и вправду будет? Но какое может быть там счастье, когда они по-прежнему не могут друг без друга?..

С Воейковым встретился утром. Разговор был короткий. Не садясь. Объявил, что никаких объяснений, оправданий и покаяний слушать больше не

будет, что судьба Воейкова, как ему хорошо известно, целиком в руках, — тут на мгновение умолк и проговорил медленней:

— Его бывших друзей... Если совершит ещё хоть раз что-нибудь подобное бывшему, даже малую малость бывшего, пусть не ищет снисхождения.

Он, Жуковский, сумеет защитить и прокормить и Сашу, и крестницу. Уже содеянного же ему никогда не замолить и не поправить.

И ушёл из дома погулять, додумать то, что не додумал ночью.

А ночью шёл снег, и мело, и намело много, дворники хотя и вышли затемно, но местами всё ещё сгребали снег большими деревянными лопатами с улиц у присутственных мест, у лавок и ворот. Ширрр! Ширрр! Ширрр! Этот звук сопровождал его всюду. Вдоль заборов и тротуаров тянулись и росли высокие длинные сугробы. Но морозило не сильно, воздух был ядрёный, вкусный, с дымным запахом.

Вечером увиделся с Мойером и сам удивлялся той ясности, с которой взирал на него и разговаривал. Сказал, что в курсе всего происшедшего и происходящего, и, по его мнению, им следовало бы познакомиться поближе. “А сколько вы будете в Дерите?” — спросил Мойер. “Недели две наверняка, может быть, чуть больше”. — “Дело в том, что днями у меня совершенно нет свободного времени, — объяснил тот, — и я должен что-то отменить из своего расписания, чтобы видеться”.

Оказалось, что он не занят только вечерами, и Жуковский пригласил его снова бывать у них и не держать серьёзной обиды на того, кто по nepозво­лительной несдержанности и горячности запретил ему посещать их дом. Мойер благодарно кивнул.

Он действительно мало говорил, а если уж говорил, то коротко и только по делу. Светлые глаза его за круглыми очками были умны. И никогда никаких лишних движений, жестов, поз. Спокойное, крепкое, удлинённое лицо с тяжеловатым подбородком. Высокая мускулистая широкоплечая фигура. Когда он оказывался рядом с нежной, утонченной Машей, Жуковский невольно несколько раз ставил себя на его место; он был по-прежнему красив, строен, элегантен, большеглаз, курчав. Мойер, конечно же, не выдерживал с ним никакого сравнения. Но уж больно всё в нём было основательно и прочно. Жуковский с каждым днём всё яснее ощущал в нём эту внутреннюю физическую и духовную прочность и вместе с тем вдруг обнаружил, что когда тот снимает очки, глаза его, оказывается, выглядят совершенно растерянными и глубоко-глубоко всё чувствующими. Наверное, тут играла роль и близорукость, но главное было в другом: он и за рояль садился, только сняв очки, — Жуковский заметил это только теперь. И вся суть, все высоты, глубины и страсти исполняемой им бесподобной музыки были всегда в его полыхающих глазах, а когда он прикрывал их, то и на его неузнаваемо менявшемся в эти минуты, совсем не спокойном лице. Он жил музыкой.

И на Машу не раз смотрел он очень похоже, и однажды наедине признался Жуковскому, что любит её сумасшедше, больше жизни. Признался просто, глядя ему прямо в глаза и явно зная об их взаимных чувствах и отношениях.

## 19

...В начале апреля по ещё не просохшим дорогам, через ещё голые леса, вдоль чёрных полей и ярких озимей Жуковский укатил в Дерит.

Было объявлено, что он едет поработать в уединении. И только Тургенев да Плещеев доподлинно знали, зачем он едет на самом деле. Обнимая его у коляски, Тургенев дрогнувшим голосом, со слезой в глазах, тихо сказал, почти прошептал:

— Только ты способен на это. Спаси тебя Господь!

А Дерит изнывал от июльской жары. Вечерами благородная публика чинно гуляла по ухоженному берегу Эмбаха, часами наслаждаясь речной прохладой, любуясь разноцветными парусниками и лодками. А простоголюдины и мальчишки в отдалении и на другом берегу шумно купались, радостно горланили.

За ночь город заметно остывал, рассветные часы были самыми лёгкими, и он работал почти так же, как памятной осенью в Долбине, складывая и складывая новые строки. А вечерами читал их в гостиной при распахнутых окнах.

*Там небеса и воды ясны!  
Там песни птичек сладкогласны!  
О, родина! Все дни твои прекрасны!  
Где б ни был я, но всё с тобой  
Душой...*

Читая, видел, какое наслаждение, да, да, наслаждение и радость испытывает Маша. Она уже месяца два была совсем прежней Машей. Нет, все-таки не прежней, чуть-чуть иной: внешне такой же мягкой, светящейся, внутренне она наполнялась какой-то прочностью, силой. Глаза же любили его.

И в глазах матушки её он видел теперь любовь к себе и своим стихам. Она и заботилась о нём, как никогда прежде. Снова распрямилась, величаво вскидывала голову, хотя властности в голосе больше не было.

*Страданье в разлуке есть та же любовь,  
Над сердцем утрата бессильна...  
Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг,  
Уже одиноким не будет...*

Саша восхищенно ахала, замирала, хлопала в ладоши, поздравляла.

Мойер слушал напряжённо, старательно. Слушал, конечно, в основном ритм, музыку стихов, явно не всё ещё в них понимая. Но общее настроение захлестывало и его, он тоже радовался, восхищался Жуковским.

Сиял и Воейков. Поэт в нём брал верх, чувствовал, как совершенен и прекрасен его “бывший друг”. Он притих, почти не пил, но временами бывал мрачен, сильнее сугулился, чернел лицом, видимо, бушевали страсти, желчь разливалась, и он держался из последних сил. Жуковский жалел его, сочувствовал, зла уже не помнил. Но тот сам держался на расстоянии, разговаривали нечасто. Однако вечерами при гостях Воейков несколько раз тоже читал свои новые, совсем неплохие стихи. Жуковский хвалил.

В прошлом, трагическом году он написал лишь несколько безысходно-печальных стихотворений. А тут, в Дерпте, к этой июльской жаре уже были готовы три небольшие баллады “Мицение”, “Гаральд”, “Три песни”, несколько стихотворений, а главное — он вернулся к большой стихотворной повести “Вадим”, названной по имени подлинного древненовгородского витязя, упомянутого в летописи, и начатой ещё в Долбине, в четырнадцатом. Потом, когда всё остановилось, остановилась и повесть, и как-то минувшей зимой он пожаловался Блудову, что не может продолжить её, потому что уже не увлекает сюжет, сама его суть кажется мелкой и... и потеряно что-то ещё, чему он даже не знает обозначения. Блудов подумал, подумал, да и сказал:

— “Двенадцать спящих дев” у тебя баллада совершенно русская. И “Вадим” совершенно русский. Может, их соединить?

И вот пошло, пошло:

*И в зареве открылась им  
Пещера под скалою.  
Спешит к убежищу Вадим;  
Заботливой рукою  
Он снял сопутницу с коня,  
Сложил с рамен кольчугу,  
Зажёг костёр и близ огня,  
Взяв на руки подругу...*

Чувствовал: прежде его стихи были мягче, нежнее, задумчивее, теперь



становились чётче, чеканней, сильней, пронзительней, то жгли, то леденили душу.

И вдруг понял, нет, сначала просто ощутил — это от Маши, от её близости, от того, что у них всё стало иным, она стала иная — потому и стихи стали другими, что вообще он пишет упоённо только тогда, когда она близко, когда осязаема и досягаема, — сделал двадцать или пятьсот шагов — и увидел. Досягаема и осязаема. Это что-то непостижимое, необъяснимое, что-то несомненно небесное, как всякое чудо, но он это почувствовал, ощутил всем своим составом, всей душою. В десятые годы были неразлучно близки в Долбине — несмотря на отрыв, была осязаема и досягаема. А как далеко-далеко — так всё иначе. Даже написал об этом в первых строках вступления к “Спящим девам”:

*Опять ты здесь, мой благодатный Гений,  
Воздушная подруга юных дней;  
Опять с толпой знакомых привидений  
Теснишься ты, мечта, к душе моей...*

В начале октября ещё стояло ведро, было ясно, тепло, а лица домашних делались всё озабоченней, иногда в доме поднималась суета — начали готовиться к свадьбе. Венчание назначили на четырнадцатое января следующего года.

Он завершал “Вадима”. Отослал поэму для ознакомления в Петербург.

В Петербург не тянуло. Друзей хотел видеть, скучал по ним, скучал по “Арзамасу”, а самого в Петербург не влекло нисколько, и он уже в который раз думал, не остаться ли в Дерпте навсегда. Купить небольшой домик недалеко от своих и... Никаких отвлечений. Работать так, как он мечтал работать всю свою жизнь. Вон как здесь идёт-то!.. Решение вышло твёрдое — остаться! И уже стал подыскивать подходящий дом, но пока втайне от своих, чтобы Маше был настоящий подарок.

...В десятых числах декабря получил от Тургенева срочный вызов в Петербург “по Государеву делу”.

Александр Первый был до того несколько месяцев на Венском конгрессе, подводившем черту под многолетними войнами Европы с поверженным Наполеоном. Значит, недавно вернулся.

А шестого января семнадцатого года в доме Блудова Александр Иванович Тургенев торжественно и взволнованно прочёл собравшимся “арзамасцам” Государев указ:

“Господину министру финансов. Взирая со вниманием на труды и дарования известного писателя, штабс-капитана Василия Жуковского, обогатившего нашу словесность отличными произведениями, из коих многие посвящены славе российского оружия, повелеваю, как в ознаменование моего к нему благоволения, так и для доставления нужной при его занятиях независимости состояния, производить ему в пенсион по четыре тысячи рублей в год из сумм государственного казначейства. Александр”.

Назначено было пожизненно.

Радовались и праздновали это событие до следующего утра.

“Я ни о чём не заботился и не хлопотал, — написал Жуковский Дуняше. — Всё сделала попечительная дружба Тургенева. Он без моего почти ведома заставил поднести кн. Голицына, нынешнего министра просвещения, государю экземпляр моих сочинений. Правда, надобно было написать посвятельное письмо государю — но вот всё, что сделано с моей стороны... Мысль, что будущее обеспечено, успокаивает душу. Теперь постоянный труд для меня обязанность”.

А восьмого января, при личной аудиенции, Государь пожаловал ему ещё и бриллиантовый перстень со своим вензелем.

Десятого января Жуковский уже снова катил в Дерпт, на свадьбу Маши. И вёз Мойеру стихотворное послание, которое вручил накануне венчания.

*Счастливец! Ею ты любим,  
Но будет ли она любима так тобою,  
Как сердцем искренним моим,  
Как пламенной моей душою!  
Возьми ж их от меня и страстию своей  
Достоин будь судьбы своей прекрасной.  
Мне ж сердце, и душа, и жизнь, и всё напрасно,  
Когда нельзя всего отдать на жертву ей...*

20

Песнопения кончились. Через три-четыре минуты священник спросит Мойера, согласен ли он взять в жёны стоящую рядом рабу Божию Марию, а получив положительный ответ, спросит о том же её: согласна ли она взять в мужа раба Божия Иоганна, ранее в браке не состоявшего. Потом священник спросит у всех присутствующих в храме, не имеет ли кто каких-либо заявлений-возражений, препятствующих сему священному таинству. Стало быть, ещё две, одна минута... он ещё может успеть... Шагнуть к Иоганну, просить прощения, отстранить его, стать на его место рядом с ней и объяснить священнику и всем предстоящим, что это его, только его, Жуковского, должен сейчас батюшка венчать с ней, рабой Божьей Марией, потому что она подлинная, самой судьбой, всей их жизнью определённая ему невеста, только ему, и она это сейчас горячо подтвердит, и Иоганн Мойер это хорошо знает и тоже подтвердит, как и многие вокруг, и он поймёт их и простит — он мудрый и великодушный. И великодушный Господь простит...

Ещё была минута! Ещё можно было рвануться и свершить это. Он безумно хотел этого! Он полыхал огнём и еле держался, напрягшись всем телом и прикрыв глаза, чтобы не видеть её...

“Последний шанс! — мелькнуло в сознании. — Единственный!”

Несколько раз он глубоко-глубоко вздохнул, открыл глаза, и, как всегда в подобные моменты, стал медленно проговаривать про себя покаяние: “Иисусе, Хранителю мой Преблагий Иисусе, очисти грехи моя, Иисусе, отыми беззакония моя, Иисусе, Надеждо моя, не остави меня”.

И пришёл в себя.

Было, конечно, грустно, что опять не совладал с фантазией там, где ей не место. Но... ни для кого, даже из рядом стоявших с ним, внешне ведь ничего не происходило: как стоял — худощавый, смуглолицый, черноглазый, большелобый, изысканно одетый, легонько улыбающийся, — так и стоял.

Храм был переполнен, немало людей не вошло, остались на паперти и снаружи. Пришли ведь все университетские, многие студенты, наверное, все, кого когда-либо лечил Мойер, и все поклонники Мойера-пианиста — он был очень популярен и почитаем в городе, и много военных. И немало тех, кто ещё не видел знаменитого русского поэта, но прослышал, что он будет на этом бракосочетании. Были, наверное, и такие, кто что-то ведал про какую-то сложнейшую историю, связывающую его с этим бракосочетанием. Недавние скандалы Воейкова тоже ведь были достоянием всего города.

В сплошь белом подвенечном наряде, с венчиком флёрдоранжа на голове, Маша была так прекрасна, что он старался как можно меньше смотреть на неё. Она напоминала ему лики святых подвижниц на иконах, которые тоже украшают по окладам венчиками флёрдоранжа с белыми цветочками и нежно-зелёными листочками. И ещё он заметил — стоял сбоку и совсем близко, — что она слушает священника, смотрит на него, взглядывает на жениха, но вряд ли видит их, лицо застылое, глаза отсутствуют — напряжённо смотрят в себя.

А долговязый дюжий Мойер в строгом чёрном фраке просто лучился счастьем в золотисто-сизоватом трепетном свечении вокруг. Стёкла его очков временами ослепительно вспыхивали — это когда он чуть поворачивался и чуть наклонялся, чтобы ещё и ещё раз удостовериться, что белое дивное

диво во флёрдоранже по-прежнему рядом с ним, плечом к плечу, и это теперь его законная, венчанная Богом жена.

— Слава Богу! Слава Богу! — думал Жуковский, наблюдая Иоганна. — Он любит её по-настоящему, он железный и душевный — ей будет с ним хорошо, он никогда её не ранит, не обидит — это определённо. У них будет своя жизнь... Будет... Своя...

В минувшем году Мойер впервые в жизни дал несколько больших платных концертов, ездил с ними в Ревель, добавил к заработанному свои сбережения и купил двухэтажный отличный дом, заново его обставил и только в столовую перевёз целиком столовую из дома отца. Там, в бывшем пасторском доме, осталась младшая замужняя сестра Иоганна Грета, которая без сожаления рассталась со старинным длинным тёмным дубовым столом, покрытым выбоинами и зазубринами и отполированным по краям до блеска. Этот стол никогда не покрывался скатертью. Дюжина стульев вокруг тоже были дубовыми — тёмные, грубые, в бесчисленных ранах, с очень высокими спинками и, как и стол, необычайно прочные. На стене у пастора по центру стола висело большое резное, тоже тёмное распятие, сын и его тоже перевёз и повесил так же. Окна столовой выходили на север, и даже когда не были задернуты тяжёлыми зелёноватыми шторами, в дни без солнца сообщали столовой сумеречный вид. Маша, войдя в неё впервые, пришла в полный восторг, сказала, что на неё тут дохнуло седой рыцарской стариной, трубадурами и миннезингерами, духом Жуковского, и отныне она будет есть только здесь, и угощать Василия Андреевича тоже только здесь.

Мойер был очень рад, что ей понравилась эта простота, что она так близка Жуковскому, а он сохранил обстановку, дорогую и любимому отцу, и ему самому.

Хозяйствовала в новом доме переехавшая вместе с ним старшая вдовая бездетная сестра Герда, похожая на него и ростом, и удлинённым лицом с тяжёлым подбородком, только она была грузная и уж совсем немногословная. Случалось, за целый день слова не вымолвит, лишь кивает, здороваясь да в знак согласия. И, как у брата, у неё был свой редчайший талант: готовила так вкусно, изобретательно и разнообразно, что раз отведав любое её блюдо, буквально все старались поест у неё за длинным столом еще и еще раз, сколько удастся. Маша тоже, конечно, мгновенно влюбилась в ее еду и сразу же попросила научить и её каким-нибудь кулинарным чудесам.

Жуковский навещал их вечерами через день-два. Мойер был само радушие. О Маше и говорить нечего, будто бы ничего и не изменилось: он читал только что написанное, обсуждали, Иоганн музицировал, строили планы, как по весне поедут втроем в Муратово, половина которого отошла теперь Маше, как заживут там.

Часто бывали гости, веселились. О пережитых драмах никто не вспоминал — так всё наладилось, получало. И вдруг он обнаружил, что после свадьбы у него с Машей не было ни одного разговора наедине. За два с лишним месяца ни одного разговора, как прежде. Даже глазами почти не говорили. Лишь спросит мельком: “Как ты?” — “Хорошо! Прекрасно! Я всем довольна”, — спокойно отвечали её глаза. И если прежде она почти всегда всё своё внимание уделяла ему, то теперь — в основном мужу; они постоянно выразительно переглядывались, касались друг друга, перешёптывались, вместе входили и уходили из гостиной. То есть она уже отдалась от него и продолжала ощущимо отдаляться, и никакого огня к себе в душе её он уже не чувствовал, не видел. А к Мойеру видел, чувствовал. И страдал. Хотя понимал, что это глупо, что только так и должно быть, что именно такого брака он ей и желал. Удачного! Счастливого! Получилось. Чего ж он рвёт себе душу? Радоваться должен! Радоваться, что Мойер действительно настоящий, а он стремительно превращается в третьего лишнего, в только мешающего им попутчика. Душу охватывала холодная тоска. И страх. Не мог он себе представить, как будет без неё.

И продолжал с ними детально обсуждать, когда они должны выехать в Муратово, что необходимо не забыть взять, кого пригласят летом, хорошо бы пробыть там до самой осени.

“Старое всё миновалось, а новое никуда не годится, — писал он Тургеневу, — душа как будто деревянная. Что из меня будет, не знаю. А часто, часто хотелось и совсем не быть. Поэзия молчит. Для неё ещё нет у меня души. Прошлая вся истрепалась, а новой я ещё не нашёл. Мыкаюсь...”

Но в Дерпт вдруг приехал бывший здешний профессор русской словесности Григорий Андреевич Глинка. В восемьсот десятом году он был приглашён двором на должность помощника воспитателя великих князей Михаила и Николая Павловичей и с тех пор жил в Петербурге. А теперь Николай Павлович вырос, собрался жениться на дочери прусского короля Фредерике-Луизе-Шарлотте-Вильгельмине, а та не знала русского языка, её нужно было учить, и Григорию Андреевичу Глинке предложили стать её учителем. А его, ещё не старого, но тучного и медлительного, одолевали болезни, он собрался в Европу лечиться на водах, и его согласились отпустить лишь при условии, что он найдёт себе достойную замену. И он явился в Дерпт — специально к Жуковскому.

“Сделал мне от себя следующее предложение, — писал Жуковский Тургеневу. — Для принцессы Шарлотты нужен учитель русского языка. Место это предлагают ему с 3000 жалованья от Государя и 2000 от Великого Князя, с квартирою во дворце Великого Князя... Занятие один час каждый день. Остальное время свободное... Обязанность моя соединена будет с совершенною независимостью. Это главное... Это не работа наёмника, а занятие благородное... Здесь много пищи для энтузиазма, для авторского таланта”.

Глинка, разумеется, согласовал своё “предложение от себя” с кем следовало. Жуковский хорошо это понимал, как понимал и то, что, как ни крути, а это всё равно служба, закабаление, да в самых-самых верхах, а стало быть, самая страшайшая, чреватая Бог знает чем. А с другой стороны, она отвлечёт, уведёт его из Дерпта, от неё, может быть, вылечит, спасёт... Хотя он несколько не хотел спастись, лечиться, отвлекаться, он хотел, очень, очень хотел ехать с ними на всё лето в Муратово, и уже почти приглядел себе домик в Дерпте...

Терзался долго. Глинка приехал в начале апреля, при голых деревьях, а решился Жуковский и дал, наконец, согласие в середине мая, когда вокруг всё было зелено.

Маша испуганно-удивлённо спрашивала:

— Зачем тебе это?

— Интересно. Хочу попробовать. Ты сама говорила, что у меня прирожденный учительский дар.

— Зачем это теперь?

— Тургенев и Карамзин советуют...

## 21

Заниматься с Александрой Федоровной начал, как и было намечено, в Москве, двадцать второго ноября. И первое время он не раз с грустной иронией вспоминал слова уговаривавшего его в Дерпте Григория Андреевича Глинки: “Занятия один час в день, остальное время свободное, и полная независимость”. Да, занятия редко длились более часа, её время было строго расписано. И независимость в преподавании ему предоставили полнейшую. А вот свободного времени фактически не оставалось никакого. Потому что он хотел научить её говорить по-русски без акцента и писать грамотно, и придумал невиданные таблицы основных русских звуко сочетаний, слов и букв, сравнивая их с похожими в её родном немецком, итальянском и французском, которые она тоже знала. Сам рисовал множество таких таблиц, раскрашивал их. Смотри — и повторяй вслух. К каждому занятию ещё и готовился, составлял план, переводил любимые ею стихи немецких поэтов на русский, и она заучивала их наизусть. Ему нравилась эта работа, он испытывал на занятиях те же радостные чувства, какие испытывал когда-то, занимаясь с Машей, Сашей, другими бунинскими девочками, потом с маленькими кириятами, — в учении было глубокое внутреннее родство с поэзией, с её целью, задачами.

Но общее положение, в котором он оказался, категорически не нравилось ему, было тяжело, порой просто невыносимо, ибо при царствующей фамилии он попал в среду самых к ней приближённых, причём его ученица и её супруг благоволили к нему, и государь с государыней благоволили знаменитому поэту, и императрица-мать, а следом за ними, разумеется, и вся знать, весь высший свет стремились выразить ему своё почтение и расположение. И в Москве, где, по случаю пребывания двора, буквально каждый день устраивались торжественные молебны, приёмы, церемонии, собрания, балы, представления, обеды, ужины, катания, гуляния, его вообще чуть ли не рвали на части: до дюжины приглашений выпадало на иные дни. И на многие невозможно было не откликнуться; приходилось и танцевать, и развлекать сановных львиц и львов стихотворными экспромтами и остротами, вести утончённые и пустые великосветские разговоры, ухаживать за записными придворными и московскими красавицами и делать всё иное праздное и пустое, что делается на любом светском приёме и бале. Приучал себя не возмущаться всем этим, терпеть, сохранять свою обычную непосредственность, доброту, достоинство, весёлость. Иногда это требовало больших усилий, но он привыкал, медленно, медленно, но втягивался в сей водоворот, всё спокойней вращался в свете, проводил ночи без сна на вечерах и балах и, в конце концов, летом был даже доволен, что нырнул в этот омут и закрутился в нём, потому что если бы не нырнул и не закрутился, то по сей день так и жил бы там, рядом с ней, с ними, и она бы всё отдалялась и отдалялась от него, и что бы из такого существования вышло, трудно даже представить, какие мучения. Поэзия-то ушла уже там и не возвращается, хотя он и пробовал много раз, насильно заставляя себя писать. Но разве так работают! Ему бы тоже отдалиться от неё душой, нет, душой невозможно, хотя бы мыслями, хотя бы не чувствовать постоянно, что она есть, пусть далеко, но... душой она не с ним, не с ним, она отдалилась и отдаляется катастрофически. Сердце сжимала тоска, боязнь жуткого одиночества.

Осенью писал Авдотье Петровне: “Пока не кончу начатых давно своих грамматических таблиц, которые скоро кончатся, — тогда гора свалится с плеч, я опять сделаюсь поэтом, вырвавшись из этих таблиц, как из клетки, скажу друзьям и поэзии: я ваш снова! — И дальше через три строки: — Не думайте, чтобы настоящее было дурно; я им доволен... В моём нынешнем положении много жизни, и я нахожу его часто прекрасным, точно по мне (эти слова подчеркнул). Одним словом, вообще не желаю перемены; и воспоминание прошедшего не иное что, как сон”.

...Письма от Маши приходили всё реже, становились всё равнодушной, холодней. По два, по три месяца не было ничего. Он-то писал часто, но... не отсылал, потому что никак не мог удержаться — начинал жаловаться на накатывавшее жуткое одиночество, на замолкшую музу, на Машину холодность. Напишет, представит, как это растравит её душу, какую причинит боль, и станет ему стыдно самого себя. Приходилось сообщать только житейское.

Он затевал с ней прежние безмолвные разговоры. Иногда они получались про самое важное, иногда она была в нём, но, почти как в письмах, какая-то невнятная, не отвечала на вопросы, он пугался этого ощущения, не мог его понять, терзался ещё сильнее. Что с ней? Что?

## 22

Дождь лил такой сильный, что пока добежал от кареты до двери их дома, изрядно вымок, хорошо ещё, что навес был большой, уже не поливало. Стучал долго, явно не слышали из-за дождя — тот прямо гудел. Стоял в нетерпении, отряхивался. Наконец, открыла горничная, ойкнула, кланяясь, приняла мокрую крылатку и шляпу и, приговаривая: “Сейчас, сейчас!” — убежала по лестнице наверх. В прихожей было темно, и он, озираясь, привикал к этой темноте, когда сверху с грохотом буквально слетела, скатилась Маша, оказалась на его груди, прижалась сильно, сильно, обхватив руками, и он тоже обхватил её, задирая кверху всё ещё мокрое лицо, чтобы не на-

мочить её. Впервые в жизни так крепко, страстно они обнялись. И она бормотала:

— Ты! Ты! Ты! Какое счастье! Здравствуй!

И он бормотал:

— Здравствуй! Здравствуй!

— Господи! Господи! Жуковский! Я не могу больше так! — продолжала она срывающимся голосом, негромко.

— Как?

— Без тебя!

— Без меня?!

— Без тебя! Без тебя! Не могу больше!

— Ты так давно не писала. Я испугался.

— Я писала, но драла письма. Мне было стыдно мучить тебя своими мучениями. Мне так плохо без тебя, так одиноко!

— И мне. До жути...

Они, наконец, отстранились друг от друга, но держались за руки, напряжённо вглядываясь в лица друг друга, но мало что различая в темноте прихожей.

— Пойдём отсюда!

Поднялись вверх в гостиную, там из-за ливня было тоже сумеречно, но каждый всё-таки разглядел другого и оценил, что с ним произошло за полтора года, которые они не виделись. Она похудела, потускнела, потухла, потухли, прежде всего, её распахнутые дивные глаза, в них стояла боль, мучение, и по мере разговора они начали вдруг кричать: “Жуковский! Спаси меня!” — “Как? Как?” — вопрошал он в ответ.

— Я старалась отдалиться от тебя, чтобы тебе было не так больно без меня. Старалась уйти в новую жизнь, я уже принимала роды.

— И я старался уйти, отдалиться...

— Вот видишь, у нас даже слово одно и то же — душа-то одна. Я поняла: у нас единая душа, и разорвать её невозможно.

— Единая душа?

Он никогда об этом не думал, а сейчас мгновенно понял, что так оно и есть, только он называл это любовью, но любят-то душой.

— Душа-то моя всегда с тобой.

— А моя — с тобой.

— Вот видишь! Зачем же нам мучить друг друга?

— А Мойер?

— Мойер — святой! Он всё знает. Знает про мою душу, и про твою, ты сам писал ему в послании своём. Знает, что всё продолжается. Мы говорили с ним об этом.

— И что?

— Он тоже любит меня. И мы венчаны Богом...

Он не ожидал такой встречи и таких слов, приготовился совсем к другому и к другой Маше, а она была его прежней Машей. Ошеломлённый, потрясённый, в первые минуты он даже не осознавал, что происходит, а когда осознал, возликовал невероятно и, несмотря на её кричащие о спасении глаза, утонул в радости, растёкся в счастливой улыбке, и она поразилась этой улыбке, удивлённо вытаращилась на него, но через мгновение уже поняла, чему он, и тоже вспыхнула, засияла радостью, перекрестила его, потом себя.

— Господи, какое счастье — ты приехал! Какой ты молодец! — Рассмеялась. — А я-то! Не переоделся, не умылся. Голодный.

Они и не заметили, как ливень на воле слабел, всё слабел и, наконец, прекратился. Увидели это, только когда стало светло и появилось предзакатное солнце, и за окнами всё стояло умытое, посвежевшее, поярчавшее: и дома, и красные черепичные крыши, и тёмные голые деревья. Настроение обоих росло и росло. Она вместе с Гердой вкусно накормили его, устраивали ему спальню и поблизости небольшой кабинет, чтобы он мог поработать, пусть всего и одну-две недели. Как ему без кабинета! Говорили без умолку — и она, и он — о многом, многом, что случилось, что накопилось, что переживалось, что передумалось за прошедшие полтора года отдаления. И он,

как и прежде, удивлялся и восхищался тем, что они оба могут говорить друг с другом бесконечно, и всё всегда будет интересно и важно, потому что у неё на всё свой, удивительно светлый взгляд и даже вроде бы сущие пустяки — и те выглядят у неё значительными и достойными внимания.

Такая теплота разливалась в груди от общения с ней, будто само предвечернее солнце вливалось в грудь, в голову, во всё его существо. Видел он, что и она испытывает то же самое — так же полна солнцем.

Мойер тоже сильно обрадовался его приезду и сетовал, что занятия с великой княжной так крепко привязали его к Петербургу. А когда остались ненадолго наедине, с тревогой сообщил:

— Маше бывает очень плохо... без вас.

— Я обещаю приезжать.

— Спасибо! Вы понимаете меня?

Они рассказывали ему о Воейковых и о матушке. Он знал, что в прошлом году Саша родила вторую девочку, описывали, какая она. Какова нынче Саша. Матушка чувствует себя неважно, болела. Воейков по разным причинам перессорился со многими профессорами, носил скупщику серебряные оклады с икон (профессор — скупщику!), а оказалось, что эти оклады — с фамильных икон Екатерины Афанасьевны. Разразился скандал, который стал достоянием общества и университетского начальства. Кое-как замяли.

Жуковский пробыл в Дерпте почти три недели. Город на глазах одевался в легкую нежную зелень. Появились ландыши, дом наполнился их густым волнующим ароматом. Маша очень любила их, и он любил, и Саша. Он носил белоснежные трогательные букетики и той, и другой. Бывал у Воейковых несколько раз, а матушка и Саша у них — дважды, без главы семейства, разумеется. Маша и Мойер не желали его видеть. Воейков же встречал Жуковского совсем как в лучшие их времена, охотно делился планами, раздумьями, ругал неудержимость своего характера, ни на кого не жаловался, рассуждал о том, что, видимо, преподавание всё-таки не его стезя, остыл он к профессорству, остыл, тянет только писать, переводить, редактировать, издавать: родился он литератором и чувствует это всё определённой. Жуковский понял, на что намекает его “бывший друг” — ищет поддержки. Однако продолжения этой темы не было.

С Машей за эти три недели если и расставались, то не больше, чем на три-пять часов в день, остальное время или вместе, или были рядом в её доме или ещё в чём-нибудь. И говорили о чём-либо или молчали, и был или не был при этом Мойер, она всё время оставалась прежней, его Машей, необычайно чуткой, необычайно чувствующей каждое движение его души, каждое его слово, взгляд, вздох, настроение.

Прежде, когда он добивался её, хотел в жены, он, конечно, хотел обладать ею целиком, безумно хотел, даже представлял, как это произойдёт, как будет, и что это будет за наслаждение, но даже и тогда всё это не было главным — главным был её свет и дух, свет и дух, желание, стремление, чтобы они, прежде всего, они были с ним, в нём, всегда с ним и в нём. И вот сейчас они были, они наполняли его до краёв — её свет и её дух. И никакая плотская близость не была нужна, он ни разу даже и не подумал о ней. И о недавнем жутком одиночестве ни разу не вспомнил. Потому что никогда не был так счастлив, как в эти недели.

— Что же сделаешь, когда всё так сложилось! — сказала она при расставании. — Располагай собой, как угодно, но помни: моя душа всегда твоя, с тобой, в тебе — они едины. Мойер только следом...

## 23

...Рождество обещал встречать с ними и двадцать пятого декабря снова вошёл в их дом. Но там стояла тревожная тишина и сильно пахло лекарствами. Тяжко болел Мойер. “Простудная горячка”, — объяснил его друг, толстый круглоголовый доктор Эрдман, который уже несколько дней не отходил от его постели. Мойер горел как в огне, грудь его шумно вздымалась и опускалась, словно кузнечный мех, сознание было затуманено. Эрдман опа-

сая, что такого жара может не выдержать сердце, то и дело менял на лбу и груди больного холодные компрессы, прикладывал к ним сверху лёд, ложками вливал в рот Мойера с потрескавшимися, сероватыми губами какие-то микстуры. Маша и Герда всё время помогали ему. Приехавшему Жуковскому позволили только глянуть на Мойера из двери. Однако через четыре дня жар, наконец, спал, а всего Иоганн маялся уже вторую неделю. На пятый день сильно похудевший, посеревший, обессиленный Мойер слабо улыбнулся, и Эрдман разрешил Жуковскому пообщаться с ним. А тот, оказывается, ещё и голос потерял — мог только с трудом прошептать одно-два слова. Виногато показывал при этом на своё горло. Жуковский решил развлечь его: стал рассказывать столичные придворные новости, выбирая, разумеется, самые веселые. На другой день Мойеру стало ещё лучше, рассказы продолжались. Маша и Эрдман тоже слушали. Вспомнил и о прогулке при луне с императрицей Марией Фёдоровной, и о написанной по её просьбе поэме.

— Фрейлины и кавалерственные дамы наперебой просят что-нибудь написать в их альбомы. Я сначала возмущался: я, мол, серьёзный поэт — как можно! А оказалось, это не так-то просто — писать альбомные барочные стихи.

— Ты пишешь? — насторожилась Маша.

— Представь себе! Стараюсь, конечно, делать это достойно.

— И написал императрице про луну?!

Смотрела на него удивлённо, потом возмущённо.

— И ещё написал поэму “Платок графини Самойловой”.

— Фрейлине?! Написал? Ты! Жуковский! Великий Жуковский! Это же пустой салон! Придворные вирши! Зачем? Я потрясена!..

Мойер испуганно смотрел на жену. Эрдман тоже.

Жуковский улыбался.

— Представь себе, не только уже слышал подобное, но даже и читал в журналах о себе. Однако послушай сначала чуть-чуть про эту мою луну и белую ночь.

Она кивнула.

*Изгнанница-луна теперь на вышину  
Восходит нехотя, одним звездам блистает;  
И величаяся прозрачностью ночей  
Неблагодарная земля её лучей  
Совсем не замечает...*

Читал негромко, медленно, без нажима, словно рассказывая, а она с каждым мгновением светлела, глаза загорались. И Мойер слушал с удовольствием. А Эрдман весь напрягся, стараясь уловить смысл этих красивых, напевных, ритмичных стихов — он плохо знал русский, говорил на нём с трудом.

— Великолепно! — выпалила Маша. — Если и остальное таково...

— Я снова начал писать. Понимаешь, снова начал писать! Потом почти ещё.

— Ча-ас! Ча-ас! — сипло прошептал вдруг Мойер, протягивая к Василию руки.

— Сейчас? — и обращаясь к Эрдману: — А его не утомит это?

— Наоборот — очень полезно.

— Хорошо!

*О гений мой, побудь ещё со мною;  
Бывальый друг, отлётom не спеши,  
Останься, будь мне жизнью земною;  
Будь Ангелом — хранителем души.*

Маша сидела в глубокой задумчивости, потом медленно поднялась, подошла к нему, приобняла и благодарно поцеловала в щеку. А Мойер отвернулся, чтобы скрыть заволокшие глаза слёзы.



В марте Маша написала Дуняше:

“Знаешь ли ты, что у меня в пузе шевелится маленькое творение, которое просит твоего благословения и части той нежной любви, которую та делала его мать так счастливо”.

Сообщила, что понесла, и Жуковскому, и он, неожиданно для себя, очень обрадовался, стал гадать, кто будет — мальчик или девочка, — и кого он бы хотел больше, и так и не решил, кого, и стал думать, как она, при её-то не больно крепком здоровье, перенесёт беременность; только бы не болела, не маялась, как многие, первенцем-то, надо, чтобы береглась, не заразилась бы чем, Мойер ведь с разными заразными возится, принесёт что-нибудь — надо очень беречься! И хотя сознавал, что Мойер разбирается в этих делах в тысячу раз лучше, чем он, да и она сама наверняка думает о себе, однако обо всех своих опасениях написал ей, и попутал, и умолял беречься как можно старательней.

“...Ты всё говоришь: беды, несчастье, необычайное и проч., — писала она в ответ. — Дурак мой! Разве мы не одно понятие имеем о будущей жизни? Там для нас всё, а здесь такое чрезвычайное счастье, как моё теперешнее, должно казаться феноменом и должно пугать, т. е. пугать тем, что не перенесёшь его достойным образом. Я из трусости желаю смерти... За младенца моего чего бояться? Ты и его душу возьмёшь на свои руки так же, как взял некогда душу матери; а если это единственное желание об его будущем исполнится, то не могу ли я смело возвратиться к Тому, Кто мне дал столько счастья. Друг мой, я сделала расчёт свой, как ты приказываешь, и вот резюме: что бы со мной ни было, всё будет счастье в этой жизни.

Обнимаю тебя, мой брат, друг, дедушка, сокровище, всё, что есть прелестного и великого на свете. Благослови мое дитя!”

## 25

Кабинет в квартире Жуковского в одном из флигелей Аничкова дворца был такой огромный, что Александр Пушкин, впервые войдя и обзрев его, рысцой пробежал от двери в дальний угол, присел там сбоку дивана, приложил руки рупором ко рту, прокричал “Ау-у-у!”, и кабинет ответил эхом. Александр звонко, залиvisto засмеялся и ахнул ещё раз.

— Полагаю, человек сто сюда войдёт. Войдёт, Василий Андреевич?

Жуковский улыбнулся.

Александр Тургенев, как всегда, тяжело пыхтя, уже устроился на ближайшем к двери диване — их было несколько у стен — и, глядя на Пушкина, тихонько посмеивался. Последнее время он был восторженно влюблён в молодого поэта, часто сопровождал его и всячески опекал.

А тот уже мерял кабинет широкими шагами, наслаждаясь простором, и попутно, как всегда, быстро оглядывая книги в двух высоких шкафах у стен, висевшие картины, беломраморный камин, мраморные же небольшие бюсты на нём — Гомера, Данта и Александра I, большущее бюро, стоявшее у среднего из трёх окон поперёк кабинета. Окна выходили на Фонтанку, по которой ещё два дня назад проплывали истаявшие серые льдинки и обильный мусор, а теперь темно-синяя бурливая вода поднялась почти вровень с берегами, и вот опять закапал крупный дождь, побежал струями по оконным стеклам — значит, Фонтанка поднимется ещё и может затопить набережные, лодки уже тычутся, стучат о деревянные настилы.

Шла вторая половина марта.

— Когда я тоже стану знаменитым, заведу себе точно такой кабинет. Можно, Василий Андреевич?

— Необходимо!

— Чтобы входил весь цвет художественного Петербурга, и все бы нахваливали меня, восторгались бы мной и славили, славили!

— Завидую загодя. Меня, случается, и поругивают.

— Негодяи! Жалкие завистники! Причина только в этом.

Чёрные глаза Пушкина озорно блестели. Он ни секунды не оставался в покое, двигался, гримасничал, даже чёрные его кудри — и те всё время мотались, подрагивали.

— Ой! — вскричал он, приблизившись к бюро. — Какой восхитительный ваш портрет! Как похож! Подарите, пожалуйста! Я давно мечтаю иметь ваш портрет. Умоляю!

Жуковский накануне привёз пятьдесят оттисков своего литографированного портрета, сделанного художником Эстеррейхом. Портрет действительно получился отличный: он был на нём красив, легонько, обворожительно улыбался; пышные волнистые волосы, выразительные глаза под чёрными бровями вразлёт, отцовский прямой аристократический нос — единственное, что он унаследовал от Бунина.

— Ну-ка, ну-ка, покажи и мне! — приподнялся с дивана Тургенев. — В самом деле, хорош. Будь я женщиной, а лучше — девушкой, без памяти бы влюбился в один этот портрет. С приложением стихов, конечно.

Пушкин уже стоял перед Жуковским с умоляюще сложенными руками.

— Предлагаю мен: вы мне — портрет, я — пятую песнь.

— Не продешевить бы! Что, если песнь так себе? Как самому-то кажется — ничего?

— По весу большая, целых двадцать страниц. Портрет перетянет.

— Дай подумаю!..

Речь шла о только что завершённой и привезённой для чтения пятой песни первой большой поэмы Пушкина “Руслан и Людмила”. Четвёртую песню он вместе с Тургеневым тоже привозил и читал Жуковскому первому минувшей осенью ещё на прежней квартире, где жительствова­вал с Плещеевым.

На портрете, который Пушкин отложил для себя, Жуковский написал внизу мелко: “Победителю-ученику от побежденного учителя — в тот высочотворжественный день, в который он окончил свою поэму “Руслан и Людмила”. 1820, марта 26, Великая пятница”.

## 26

...Сам Воейков объяснял свою отставку тем, что столкнулся в Дерпте с врождённой ненавистью проклятых париковых немцев к русским, особенно к русским патриотам, к коим он имел честь принадлежать. Они плели интриги против него все годы, клеветали и клеветали, а в начале этого года был назначен новый попечитель университета князь Ливен, и подлецы-немцы оболгали и обнесли его так, что он как благородный человек вынужден был немедленно подать прошение об...

Появился он в Петербурге сначала один. Просил Жуковского, Тургенева и кое-кого ещё подыскать ему место для службы, без коей существовать большому семейству было невозможно. Причём без всякого стеснения высказал сокровенное желание стать, ни много ни мало, инспектором или директором Царскосельского Лицея. “Считаешь, что справишься?” — спросили его. “Убежден!”. Однако хлопотать не стали. Тургенев предложил ему в своём Департаменте духовных дел должность чиновника особых поручений. А Жуковский уговорил журналиста и педагога Николая Ивановича Греча, и тот выхлопотал ему место инспектора классов артиллерийского училища и, кроме того, поручил в своём журнале “Сын Отечества” вести отдел критики и обозрения журналов. Последнему Воейков обрадовался больше всего.

Подыскивал он и подходящую квартиру семейству, которое оставалось пока в Дерпте.

И вдруг через тамошних знакомых Жуковскому стало известно, как на самом деле он ушёл в отставку. При вступлении в должность нового попечителя каждый профессор университета обязан был лично представляться ему, и тот имел с ним беседу, короткую или длинную, в зависимости от личности. Когда очередь дошла до Воейкова, он, как все, парадно одетый, распрямился, чтобы не сильно бросалась в глаза его сутулость, и шагнул за дверь, а всего через пару минут буквально выскочил оттуда, обсыпанный бумагами, а следом за ним вылетел взбешённый невысокий худенький князь Карл Андреевич

Ливен, кидая вслед Воейкову ещё бумаги и крича срывающимся голосом: — Вон! Вон! Чтобы я больше никогда вас не видел! Немедленно в отставку! — И оглядев ожидавших в приёмной очереди профессоров, так же возмущённо выкрикнул: — Господа, этот негодяй писал на всех вас доносы! На всех! С изложением всех ваших страстей, тайн и образа мыслей. Вы видели, я швырнул их ему в лицо!

Безумно жалко стало Сашу, матушку. Воейкову о том, что узнал, не сказал — не имело смысла: будет врать, изворачиваться. Но здесь-то ратовали за него, а что он выкинет ещё, ведомо только Богу или Сатане. Опять выходило одно: постоянный надзор, присмотр, постоянно чтобы был рядом. Только если жить рядом, вместе. И Саше будет лучше, и Афанасьевне. Сказал об этом Воейкову. Тот возликовал:

— Так мне искать? Или ты сам?

— Сдаётся пол-этажа в доме Меньшикова, как раз напротив Аничкова дворца, мне только мост перейти. Побывай, посмотри!

Апартаменты понравились. Воейков поехал за семейством, но удивительно долго не возвращался.

Если бы Жуковский знал, почему: почтовая контора Дерпта отказала ему в лошадях. Он задолжал в городе стольким и столько, что кредиторы сговорились и потребовали от ямской службы не выпускать его из Дерпта. Он очень многое скрывал всегда от Саши. Она была единственным человеком, которому он старался не доставлять неприятностей; по-прежнему временами, как писал в своём “Послании”, молился на неё как на своего Ангела-спасителя. Это был единственный ясный свет и отдушина в его жизни. Саша понимала это и многое ему прощала, но, как он ни таил от неё свои безобразия, отголоски-то всё равно долетали, терзали её, она часто заболела. Когда он сказал, наконец, что их не выпустят из города, пока он не рассчитается с крупными долгами, она мигом поняла, чего он хочет. У него в Москве был состоятельный брат, но он никогда не дал бы ему займы денег — знал слишком хорошо. А если попросит Саша — даст.

И она ездила в Москву, просила, и привезла деньги — и они приехали в Петербург.

Друзьям и знакомым было, конечно, интересно посмотреть, ради чего и на что променял Жуковский роскошную казённую квартиру в таком великоленном дворце. Они ещё только устраивались в Меньшиковском доме, а визитёры уже шли чередой. Многие, никогда не видевшие “его легендарную Светлану”, только ради этого и навевывались. И она как хозяйка дома первой их и встречала. И ошеломляла.

А Тургенева он сам привёз. Тот тоже прежде её не видел. Тургенев вошёл в гостиную, поклонился, поцеловал у неё руку, сказал, что вот, наконец, сподобился увидеть воочию легендарную жуковскую Светлану, очень счастлив сему, и, по своему обыкновению, начал пятиться широким задом к ближайшему дивану. Но на полпути неожиданно замер, ибо теперь только разглядел как следует, до чего она ангельски бесподобна в своем изящном голубом платье с синим прозрачным шарфом на точёных открытых плечах, с потрясающе большими синими глазами, пышными золотистыми волосами. Он оторопело постоял, снова приблизился к ней, заговорил. И в этот вечер совсем не лежал на диванах. Держался всё время возле нее. И не поглощал за ужином всё подряд.

А через день пожаловал без приглашения и завёл при ней разговор о том, что при её красоте и обаянии, при таком муже-поэте и поэте Жуковском, она могла бы стать хозяйкой блестящего литературного салона, которому не будет равных в Петербурге. Жуковский сам думал занять Сашу именно так, и был очень рад, что они подумали с Александром так заедино. Воейков, конечно, горячо поддержал идею. С удовольствием обсудили её.

## 27

...Жуковский поехал в Германию, и, разумеется, через Дерпт.

Маша двадцать седьмого сентября сообщила Авдотье Петровне: “Жуковский спит под моей горницей. Он пробудет только до 3 октября”.

А он, как только вошёл и скинул крылатку, внимательно осмотрел её выпуклый круглый живот, лицо — и обрадованно заулыбался, обнял её.

— Ты очень похорошела! Как себя чувствуешь?

— Прекрасно!

Она действительно внешне похорошела, чутьчку пополнела, налилась живительными соками, порозовившими её прежде бледноватое лицо. Он все дни любовался ею, радовался, что она полна сил, бодра, весела...

\* \* \*

В Швейцарию из Берлина ему переслали долгожданное письмо Маши: “Милый ангел! Какая у меня дочь! Что бы дала я, чтоб положить её на твои руки!”

Вздыхнул с великим облегчением. Ведь столько месяцев жил в затаённом страхе за Машу. Слава Богу, что всё обошлось, что она и малышка здоровы.

В декабре был снова в Берлине при великокняжеской чете. Чета стала собираться домой, а он каждую свободную минуту отдавал “Шильонскому узнику” — рассказу Бонивара.

*И виделось, как в тяжком сне,  
Всё бледным, тёмным, тусклым мне;  
Всё в мутную слилось тень.  
То не было ни ночь, ни день,  
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,  
Столь ненавистный для очей,  
То было тьма без темноты...*

В начале января двинулся в обратный путь. Туда с ним был всего две поклажи с бельём и верхним платьем, а теперь — целых семь, три из коих — громоздкие ящики с купленными небольшими мраморными бюстами великих мыслителей и поэтов и картинами берлинского художника, романтика-символиста, очень созвучного по мотивам и настроениям поэзии Жуковского Каспара Давида Фридриха. Они крепко сошлись и подружились в Берлине. И ещё с ним был довольно большой, очень тяжёлый кожаный саквояж, который он постоянно держал рядом в карете, а выходя из неё, носил с собой. Саквояж был до отказа забит альбомами с его рисунками и толстыми тетрадами в кожаных переплётках с его многочисленными записями, с почти завершённым “Шильонским узником”, с набросками новых задумок, с подробными планами некоторых из них — их были десятки.

...Временами завывающие снежные заряды налетали на возок так, что он сильно кренился влево — вот-вот упадет, но, слава Богу, всё же не падал, полз и полз сквозь лютую пургу, только в нём становилось всё холоднее. Как продувался — непонятно, не было ни единой щелочки. Ноги закоченели давно, коченели и руки в специально для таких случаев припасённых вязаных шерстяных рукавицах, мерзли и уши, и нос, хотя высокий пушистый воротник енотовой шубы был поднят, и он прижимал к нему то одно ухо, то другое, то нос. Крошечные, залепленные снегом окошки возка еле светились, хотя шёл лишь второй час пополудни. Мысли, казалось, тоже замерзали, еле шевелились в этой ледяной полумгле.

“К чему бы это? Уж не случилось ли чего, что так лютоует?”

У их дома остановился часа через два уже в полной круговерти и темноте.

И, как уже было однажды, встал в прихожей у двери, стряхивая с себя снег, разоблачаясь и отогреваясь, а все Мойеры тем временем сбегались туда с восторженными приветствиями и восклицаниями, и последней наверху показалась Маша со спелёнутой дочкой на руках, а он подышал на свои, отошедшие от мороза руки, и дальше всё пошло так, как он уже представлял себе: широко перекрестил дитя и мать, сказал: “Благословляю! И беру на себя!” — протянул обе руки и принял Катюшку, глазёнки у которой оказались

синенькие и кругленькие, и она подвигала пухлыми губёчками так, что его охватило жарким счастьем, он восторженно и глупо заулыбался, переводя взгляд с неё на мать, на Мойера, на всех остальных. Маша сияла. И Иоганн сиял. И остальные в прихожей. Он поцеловал девчущку в лобик, погладил тугие щёчки и вернул матери, та прижала её к себе *столбиком*, девочка засмеялась, заулыбалась, и Маша сказала:

— Катя, я, папа и все остальные от всего сердца горячо, горячо поздравляют тебя с днём рождения! Желаем здравствовать ещё сто лет и всегда оставаться таким, каков ты есть, то есть лучшим из лучших на всем белом свете Жуковским! Ура-а-а-а! Сла-а-а-ва-а-а! Сла-а-а-ва-а-а!

И все возгласили негромко: “Ура!” и “Слава!” Катюшка разинула удивлённо рот.

## 28

Маша с мужем были тем летом в Белёве и Муратове. Позже из её писем и рассказов он узнал подробности этого пребывания.

Когда Жуковский ещё учился в Благородном пансионе, сводная сестра его Авдотья Афанасьевна Алымова подарила ему старенький дом, стоявший в Белёве неподалеку от протасовского на высоком берегу Оки. Когда он вернулся в Мишенское, дом был уже настолько ветх, что Жуковский решил построить на его месте новый. Место было уж больно божественное: дали открывались на десятки верст, летом напоенные густыми луговыми и полевыми запахами, зимой — прокалёнными, вьюжными, с завораживающей игрой воды в могучей Оке под крутыми кручами. Начал строительство, Марья Григорьевна дала своих плотников, помогала материалами и деньгами. Мечтал, как перевезёт сюда матушку, и она обретёт, наконец, собственный дом, и живут они своей семьёй, вблизи и постоянном общении со всеми родными.

Приехав в Белёв, Маша на заре пошла одна на этот крутояр над Окой. Солнце только что показалось над землёй. Над водой стлался лёгкий туман, на глазах расплывшийся в клочья, которые через мгновения исчезали. Длинные косы высоких плакучих ив легонько покачивались, тихо шелестели, будто что-то нащёптывали ей. Что? Она вспомнила, как помогала когда-то Базиллю сажать их, какие они были тогда маленькие, тоненькие. Может, они благодарили её теперь за то, что принимала она в этом участие. Долго смотрела на его дом. Ужасно хотелось зайти в него, и уже было подошла, но не решилась; там теперь помещался земский суд — пришлось бы объяснять, кто да что, да зачем?..

Потом писала Дуне:

“В этом доме пережила я лучшие часы моей жизни; каждое утро было для меня наступлением блаженства, и каждый вечер был мне лоб, потому что я засыпала в ожидании следующего утра. Солнце начинало всходить, и ветер приносил волны к моим ногам. Я молилась за Жуковского... Я окончила мои счёты с судьбой, ничего не ожидая более для себя...”

С крутояра она пошла прямо в церковь. Снова молилась за него, и вдруг упала без чувств на каменный пол.

Сердце не выдержало таких сильных воспоминаний.

Две недели лежала пластом. Поначалу Мойер с трудом прощупывал пульс. Не отходил ни на шаг, прекрасно понимая, отчего вдруг такой тяжкий приступ. И Жуковский понял, когда рассказали, и еле держался, чтобы не плакать от боли и сострадания к ней и собственного бессилия что-либо сделать, помочь, переменить.

Мойер перевёз её в Муратово.

А она уже послала ему письмо.

“Ангел мой, милый, старый мой Жуковский! Письмо твоё так меня утешило, что мне бы хотелось на коленях благодарить тебя за него... Меня довели сюда опасно больную... О, милый! Твоё письмо возвратило мне всё: и прошедшее, и потерянное в настоящем, и всю прелесть надежды... Восхождение солнца встретила я между садом и мельницей... Ты мне отдал всё, мой ангел! Теперь нет для меня горя! И в Муратове я теперь счастлива! Твоя

комната с письмом твоим в руках есть мой рай земной! Душенька, не сердись за это письмо: крепилась, крепилась, да и прорвалось, как дурная плотина, вода бушует, не остановить! Из окна большой твоей горницы виден твой холм с твоим тростником и твоя деревенька... Теперь всё в этом кладбище ожило, всё говорит: прошедшее — твоё! В Муратове опять всё — счастье!.. С каким наслаждением домолюсь тихомолком до тех пор, покуда из него вынесут!.. Тебе или, лучше сказать, в тебя я привыкла верить с тех пор, как знаю, что такое вера. Я знала, что я тебе была...”

## 29

...Маша снова собралась родить. Помятуя, как она боялась первых родов, он решил, что должен перед этим, а может быть, и в самый момент родов побыть возле неё. Предполагался март. То же самое решила сделать и Саша, причём взять с собой матушку и детей и пожить потом в Дерпте несколько месяцев, может, всё лето — их дом пустовал, ждал хозяев.

Из Петербурга выехали в огромном, раскачивающемся, словно корабль, тёплом дормезе двадцатого февраля, в Дерпт прибыли двадцать пятого.

Из писем Маши казалось, что они знают о ней и её жизни всё, а оказалось, что далеко не всё. Выглядела она неважно, пожалуй, впервые так неважно: лицо припухшее, в серо-коричневых пятнах, живот небольшой, круглый, фигуры никакой, движения замедленные. Но восхищённо перецеловала Сашиных детей, мать, Сашу, Жуковского, восхищалась, разглядывая Андриюшку, горделиво знакомила с сестрицами свою крепенькую, щекастую, белокурую, веселоглазую прелестницу Катюшку и ещё двух милых девчушек постарше: черную и рыженькую, — и белокурого, остроносого насупившегося мальчика лет пяти — это были её воспитанники. Сказала, что чувствует себя хорошо, и, несмотря на медлительность, всё время двигалась, устраивала их всех на время в своём доме — в свой Воейковы перебрались на другой день, — угощала, расспрашивала, рассказывала, что по-прежнему помогает Иоганну в лечебнице, акушерствует, устраивает у себя вечера и обеды для студентов, среди которых оказалось необычайно много талантов.

— Сами увидите.

Дети под присмотром нянь — мойеровской и воейковской — играли в гостиной. Сначала их было не слышно, но потом оттуда донеслись весёлые крики, заливиный смех, топот. Прислушались. Маша различила тоненький звенящий голосок дочки, а Саша — вскрики своей старшей. Екатерина Афанасьевна прислушивалась, недовольно хмурясь. А там всё шумней, шумней. Пошли посмотреть, что они вытворяют. Оказывается, играли в жмурки, водила с цветной повязкой на глазах как раз старшая Воейкова, Катя, а остальные, включая обеих нянь, бегали вокруг, аукали, хохотали, прятались за стулья, за рояль. Разошлись, развеселились так, что не остановились при их появлении. А они посмотрели, посмотрели от двери, порадовались за них и решили не мешать.

— Как легко сошлись! — сказала Екатерина Афанасьевна.

— Родная кровь! — улыбнулась Маша.

А через три дня она уже представляла им опекаемые ею молодые таланты: невысокого, курчавого Александра Хрипкова — художника-пейзажиста, изучавшего военные науки, большого задумчивого Петера Фреймана, изучавшего математику и сочинявшего музыку, маленьких, худеньких философов — братьев Алексея и Андрея Тютчевых, сочинявших стихи, — и рослого, большелобого, сероглазого красавца с русыми волнистыми волосами Николая Языкова.

— Он тоже на философском, — сказала Маша, — и наша гордость и надежда. Также пишет стихи, которые знает не только каждый студент, но, наоборот, уже и половина города. Есть и песни, которые вы обязательно услышите по ночам, потому что они у него все разгульные.

Языков зарделся, как красна девица, отчего стал ещё краше.

— Марья Андреевна!

Маша открыто любовалась им.

Он же, как увидел Сашу — впервые увидел! — так и не отрывал от неё своих прекрасных светло-серых восхищённых глаз.

— Николай Михайлович только в прошлом году приехал в Дерпт, — продолжала Маша, — и, по некоторым сообщениям, в Дерпте уже не осталось ни одной красивой девушки, которая хоть раз не оказывалась бы в его шумных компаниях. Я не преувеличиваю, Николай Андреевич?

Языков снова покраснел. Все улыбались, так эта застенчивость не вязалась с тем, что говорила Марья Андреевна.

Стихи сначала читали братья Тютчевы. Стихи были выпренные, корявые, скучные. Увлечённый Сашей Языков всё-таки нет-нет, да и поглядывал на Жуковского. С большим интересом поглядывал — он подметил. Наконец, нахмурился и пророкотал приятным баском:

— Теперь, выходит, моя очередь! Марья Андреевна верно меня представляла: я действительно поэт радости и хмеля. Разве это предосудительно, плохо?

— Нисколько! Нисколько! — почти в один голос сказали Маша и Жуковский. — Читайте!

— Можно не целиком? Целиком не для этого собрания. Отрывки.

— Как угодно.

*Свобода, песни и вино —  
Вот что на радость нам дано,  
Вот наша Троица Святая!  
Приди сюда хоть русский царь,  
Мы от бокалов не встанем.  
Хоть громом Бог в наш стол ударь,  
Мы пировать не перестанем...*

Всё примерно в таком духе.

— Вы наслаждаетесь, когда из вас льются стихи? — спросил Жуковский.

— Да.

— И забавляетесь: усложняете и усложняете себя?

— Да.

— А ведь поэзия — вещь бездонная, необъятная, сильнее поэзии на свете нет ничего. И только подлинное погружение в её глубины даёт какой-то результат.

— У меня есть и серьёзное, — объявил Языков.

— Читайте!

*Прошли те времена, как верила Россия,  
Что головы царей не могут быть пустые  
И будто создала благая длань Творца  
Народа тысячи — для одного глупца.  
У нас свободный ум, у нас другие нравы:  
Поэзия не льстит правительству без славы,  
Для нас закон царя — не есть закон судьбы,  
Прошли те времена — и мы уж не рабы!*

Повисла тишина. Все смотрели на Жуковского: не слишком ли смело?

А ему стихотворение понравилось: всё верно, прошли те времена. Сказал об этом, похвалил Языкова, добавив, что писать нужно только о том, что тебе ближе, дорожке всего, что идёт из глубины твоей души, жжёт её, остальное всё — пустота, и никому, кроме самих ослеплённых, упоённых собой авторов, не нужно. К сожалению, подобные так называемые поэзия и проза были во все времена, и их всегда больше, чем настоящего, ныне тоже, и серьёзным людям просто нужно учиться различать одно от другого.

— Видите, даже впал в резонёрство. Старею! Извините!

К большой радости Маши и Саши, Языков его заинтересовал, они виделись наедине, подолгу разговаривали.

Дни стояли солнечные, не морозные, с мягким снежком. Они втроём ходили гулять на Домберг. Маша поднималась туда медленно, с остановками,

они уговаривали её вернуться, но она отказывалась, улыбалась и говорила, что всё нормально, ей и должно быть сейчас трудно подниматься в такую гору. Там по снежным мягким дорожкам под обсыпанными снегом деревьями ходила совсем легко, не задыхаясь. Они вспоминали прежние свои прогулки здесь. Он рассказал, как искал сверху крышу их дома. Говорили о том, как сильно изменилась их жизнь. Хвоя сосен над головами временами тихонько шуршала. От снега уже веяло предвесенней сыростью. Вспомнили о своей мечте: опять поселиться когда-нибудь всем вместе в Муратове и поблизости. Мойер совсем уже собрался в отставку, мог бы запроситься и он. Всё представлялось вполне реальным.

Короткий отпуск Жуковского кончался, родов всё не было. На восьмое марта он заказал экипаж. На поздний вечер.

Все собрались внизу проводить его, но лошадей долго не подавали. “Всех клонил сон, — писал он позже Евдокии Петровне. — Я сказал им, чтобы разошлись, что я засну сам. Маша пошла наверх с мужем. Сашу я проводил до её дома... Возвратясь, проводил Машу до её горницы; она взяла с меня слово разбудить их в минуту отъезда. И я заснул. Через полчаса всё готово у отъезду. Встаю, подхожу к её лестнице, думаю — идти ли, хотел даже не идти, но пошёл. Она спала, но мой приход её разбудил; хотела встать, но я её удержал. Мы простились; она просила, чтоб я её перекрестил, и спрятала лицо в подушку”.

Девятого к полудню у неё начались схватки, которые становились все сильнее и сильнее. Иогани помогал, как мог. Был и подлекарь Зейдлиц. Она терпела, не кричала, только всё больше белела, да временами длинно глухо стонала. Через два часа адских мучений появился, наконец, ребёнок — мёртвый мальчик. Она была в забытьи и не узнала об этом. Через полчаса примерно вдруг приоткрыла затуманенные глаза и тихо, медленно вымолвила:

— Жу-ков-ский.

Мойер решил, что она зовет его, и сказал, что он вчера уехал.

Она перестала дышать.

## 30

Жуковский вернулся в Петербург двенадцатого, а пятнадцатого пришла эта жуткая весть. Это было не письмо, не записка, это передали по почте: на Фонтанку пришёл почтальон и сказал: просили передать, что умерла в Дерпте родами Марья Андреевна Мойер. Он ему не поверил, не мог поверить, стал спрашивать, верно ли и как это было, но тот ничего не знал, он был питерский, ему велели передать, и всё. Почтальон пошёл к двери, скрылся за ней — и жизнь для Жуковского кончилась. Кончилась в нём самом. Он всегда ощущал, как она непрерывно течёт, движется, а временами бурлит, кипит внутри — всегда чувствовал этот ток, — а тут всё вдруг замерло, застыло, грудь сдавило, голова поплыла, он не мог удержать ни одной мысли, не мог ничего обдумать, всё уплывало, навалилось жуткое отчаяние, от которого немели, холодели руки, ноги и что-то внутри, и он надрывно твердил одно: ехать! ехать! ехать! Состояние в дороге временами было ещё тяжелей, только сознание больно долбило уже другое: “За что?! За что?! За что?!”

Девятнадцатого вдали показался Дерпт.

“Я опять на той же дороге, по которой мы вместе в Сашей ехали на свидание радостное, — рассказывал он позже в письме Авдотье Петровне. — Её могила — наш алтарь веры, недалеко от дороги, и её первую посетил я. Покой божественный, но непостижимый и повергающий в отчаяние! Ничто не изменяется при моём приближении; вот встреча Маши! Но, право, в небе, которое было ясно, было что-то живое. Я смотрел на небо другими глазами: это было милое, утешительное, Машино небо”.

Ему рассказывали, как она умирала, как её хоронили: пришли сотни людей, студенты толпами, было море цветов. Младенца положили в одну с ней могилу.

“Боже, Боже мой! А меня не было!!!”



Ему передали её письмо. Оказывается, она не просто боялась родов — она предчувствовала, и давно, загодя расставалась, прощалась с ним.

“Друг мой! Это письмо получишь ты тогда, когда меня подле вас не будет, но когда я ещё ближе буду к вам душою. Тебе обязана я самым живейшим счастьем, которое только ощущала!.. Не огорчайтесь, что меня потеряли. Я с вами. Жизнь моя была наисчастливейшая — выключая два-три дурных воспоминания... и всё, что не было хорошего, — всё было твоя работа. Ангел мой! Одна мысль, которая меня беспокоит, есть та, что я не довольно была полезна на сем свете, не исполнила цели, для которой создана была... Сколько вещей я должна была обожать только внутри сердца, — знай, я всё чувствовала и всё ценила. Теперь — прощай!”

Он счёл, что не вправе утаивать эти последние её слова от мужа, от сестры, от матушки, и давал им читать письмо. Страшно сникшая, постаревшая, совершенно седая Екатерина Афанасьевна уже не имела сил плакать, много раз останавливалась, не в состоянии дочитать его, и всё больше горбилась, горбилась. Ему было безумно жаль её.

“Теперь мы плачем все вместе, — пишет он. — Это не утешает, это ничего не изменит. Хотелось бы найти какой-нибудь исход, мысленно даже пытаешься найти его, но снова осознаёшь, что это бесполезно, что всё конечно, и снова льются слёзы”.

Мойер, Саша и он три дня сажали молодые деревья возле её могилы.

“Первый весенний вечер нынешнего года, прекрасный, тихий, провёл я на её гробе, — писал Жуковский в другом письме Елагиной. — Солнце светило на него так спокойно. В поле играл рог. Была тишина удивительная... Поэзия жизни была она. Но после её письма чувствую, что она же будет снова поэзией жизни”.

Он много раз подолгу бывал на её могиле с Мойером, с Сашей, и один сидел там на скамеечке, сажал цветы, но Маша и там по-прежнему постоянно была в нём живой, он по-прежнему ощущал её тепло, свет, слышал её душу, они хорошо разговаривали. Всё было, как все последние годы, и он понимал, что для него она не умрет никогда. Однако суть её, поэзия жизни, выплеснулась только в одну из первых бессонных ночей и больше не возвращалась. Слава Богу, что хоть нашёл в себе силы и записал их тогда.

*Ты предо мною  
Стояла тихо,  
Твой взор унылый  
Был полон чувства.  
Он мне напомнил  
О милом прошлом...  
Он был последний  
На здешнем свете.  
Ты удалилась,  
Как тихий Ангел;  
Твоя могила,  
Как рай, спокойна!  
Там все земные  
Воспоминанья,  
Там все святые  
О небе мысли.  
Звёзды небес,  
Тихая ночь!..*

Больше стихи не звучали, не рождались в нём ни через десять дней, ни через двадцать, ни через месяц.

Отметили тяжкие сороковины.

Он не уезжал до конца апреля, до первых проклюнувшихся листочков на нескольких принявшихся на её могиле деревцах.

...В конце июня он снова был в Дерпте.

Мойер страшно изменился: одни мослы, лицо мрачное, глаза ввалившиеся, полные страданий и печали, говорил мало, к роялю не притрагивался,

дома всё время проводил с дочкой, которая становилась всё прелестней и не-уёмней, и без конца спрашивала то отца, то тётю Сашу, а потом и Жуковского, когда придет мама?

Саша прихварывала. Её дети, под неослабным присмотром бабушки, были, слава Богу, здоровы, прилежны, послушны, но и проказливы. У самой же бабушки, по её словам, болело уже всё, и сильнее всего — душа, что не уберегла она свою дорогую Машу. Тяжко, прерывисто при этом вздыхала, отворачивалась, подносила к мокрым глазам платок.

Жуковский объявил Мойеру, а потом и Саше с Екатериной Афанасьевой, что всё своё состояние и последующие прибавления к оному определил в наследство своим племянникам Катюше и Сашиным дочерям тремя равными частями и уже оформил все необходимые для этого бумаги.

Между ними никогда не было никаких разговоров ни о чём подобном, его никто не просил об этом, он сделал это совершенно неожиданно для них. И признательности и благодарностям не было, конечно, конца. Благодарным слезам тоже.

Не писал. Душа безмолвствовала. Стихов до конца года не было ни одного. И переводить не мог, не хотел. Спрашивал Машу, что происходит? Где поэзия жизни? Не отвечала. Делалось страшно. И не представлял, что и как будет дальше. Так продолжалось и в следующем году. Наконец, подумал, что фактически он ведь всю жизнь писал для неё, ей, её душе, живой. А как писать теперь? И ещё подумал, что она приходила на свет, чтобы сделать его поэтом. Господь именно для этого её послал — сделать его поэтом. Для того она и мучилась так невыносимо, была так несчастна... и одновременно так счастлива им.

“Жизнь моя была наисчастливейшая...” Всё правда! Всё так!

Однако одно озарение всё же случилось, всё же спустилось к нему в середине двадцать четвертого года.

*Я музу юную бывало  
Встречал в подлунной стороне,  
И вдохновение летало  
С небес, незваное, ко мне;  
На всё земное наводило  
Животворящий луч оно —  
И для меня в то время было  
Жизнь и поэзия одно.*

*Но дарователь песнопений  
Меня давно не посещал;  
Бывалых нет в душе видений,  
И голос арфы замолчал.  
Его желанного возврата  
Дождаться ль мне когда опять?  
Или навек моя утрата,  
И вечно арфе не звучать?*

*Но всё, что от времён прекрасных,  
Когда он мне доступен был,  
Всё, что от милых, тёмных, ясных  
Минувших дней я сохранил —  
Цветы мечты уединенной  
И жизни лучшие цветы, —  
Кладу на твой алтарь священный,  
О, Гений чистой красоты!..*

Жуковский прожил ещё двадцать девять лет. Продолжал служить. В двадцать четвертом году был назначен воспитателем сына Александры Фёдоровны, будущего императора Александра Второго. Его отец Николай Павлович стал императором, а мать — императрицей в трагическом декабре двадцать пятого. Жуковский воспитывал наследника до его совершеннолетия.

После ухода Маши настоящих стихов не было ещё год, и три, и пять. Медленно, но всё же вернулся к переводам. Переводил и прозу, как всегда, вольно, и всё больше и больше. Перевёл несколько рыцарских баллад Уланда. Пересказал в стихах большую прозаическую романтически-символическую повесть немецкого писателя де ла Мотт Фуке “Ундина”. Пересказывал стихами сказки братьев Гримм. Живя в старости в Германии, несколько лет переводил на русский “Одиссею” Гомера. Приступил к “Илиаде”. Думал над собственным большим “Странствующим жидом”, просил Гоголя, побывавшего в Палестине, описать ему для этого многие тамошние места.

И всё же все высочайшие творения были только там, в прежней жизни. Новые не появились.

*О милых спутниках, которые наш свет  
Своим сопутствием для нас животворили,  
Не говори с тоской — их нет!  
Но с благодарностью: были!*

Это его строки.